

Владимир Иванович Даль

**Похождения Христиана  
Христиановича Виольдамура  
и его Аршета**

# Содержание

#1 .....	0004
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ .....	0005
ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ .....	.0144

**Владимир Иванович Даль**

**Похождения Христиана  
Христиановича Виольдамура  
и его Аршета**

*Если вы, почтенный читатель, подшучивали когда-нибудь над девицей, которая хвалилась как своей работой турецким всадником, вышитым ею по готовым клеточкам канвы и по готовому узору, то, конечно, позабавились бы при случае и на мой счет, не напиши я только этого предисловия. Дело в том, что художник передал мне пятьдесят готовых картин с предложением написать к ним объяснение. Вот каким образом составила́сь эта повесть. Я подбирал только тени, отсчитывал стежки и старался прятать узлы и концы под-испод.*

*В. Луганский*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета! А что за похождения и что за Виольдамур с Аршетом? Кто таков этот знаменитый муж и кто таков друг его или товарищ, осужденный на вечные послуги и готовый, по-видимому, вынести на покорном хребте своем заглавие повести нашей из всех бед юдольных, под гору и в гору, хоть пожалуй прямо в храм вечности и славы? Не утешительно ли это для нас обоих, рыцарей пера и карандаша, что один только огонь может истребить заглавие повести нашей, вверенное попечению Аршета, который бесспорно вынесет его из воды, и может быть даже из самых опасных для сочинителя топких вод пограничной речки Леты? Но будем надеяться в этом случае не на одних добрых и разумных собак, а на добрых и умных людей, и ожидать от них участи не только заглавию, но и всей повести нашей.

Итак, что за двойни перед нами и кому из них по шерсти кличка дана? И тому и другому; один Христиан Христианович – стало

быть, полурусский немец; он же Виольдамур – стало быть, отец или дед его был родом человек беспокойный, и если не француз, то по крайней мере близкий ему сосед, может быть эльзасец, из Кельна, Страсбурга или Ахена, стало быть, также прозвание это – Виольдамур – дано было когда-то родоначальнику аршеткинского барона за искусство владеть смычком на почти забытой нынче виоле, среднем подростке между двух, более нам знакомых братьев: визгливым и упрямым ребенком, которого взял к себе на воспитание причудливый Паганини, и рассудительным, сутуловатым служкою Ромберга, отзывающемся на спрос могучего смычка чистым человеческим голосом. Итак, дед и прадед героя нашего были музыканты; отец также; он прибыл в Питер по вызову, привез с собою белый, тканьюевой халат, колпак, две скрипки да свою Катерину Карловну; был принят в камер-музыканты и день-за-день пилил нежно и страстно конским белым волосом по кишечкам многих тысяч овец и ягнят. Никогда невинные животные эти заживо и во сне не видали, что в утробе их заключается такой

сладкозвучный голос, какой умел искусно вызывать из отживших остатков их наш Виольдамур, достойный потомок славного в свое время на берегах Рейна Виольдамура. И дело, старичок, благую часть ты избрал; ты пустился в такую игру, в которую, конечно, никого и никогда не обыгрывал, но между тем сам всегда оставался в выигрыше.

Другому герою похождения наших дана кличка Аршет {arshet – смычок (*фр.*)}; слепо и послушно он повинуется, как смычок, воле своего господина; так же понятлив, так же искусен и расторопен, и молчалив, и разговорчив – все по воле хозяина, но он постояннее и благороднее своего тезки, потому что не отстал от бедного барина, когда все смычки на свете покинули его на произвол судьбы. Зачем же дали ему кличку Аршет, а не смычок? Затем, что мы в дело это не вмешивались, а барин его родился и вырос в Питере; следовательно, взглянув на какой-либо предмет, ему всегда наперед приходило в голову заморское название, а потом уже русское. Впрочем, и самая скрипка Виольдамура была не родным, а сводным братом нашей балалайки.

У старика Христиана Готлиба Амедея Виольдамура, по сожительству его с Катериною Каролиною, урожденною Лаутеншпиль, на пятый год по приезде в Россию родился первенец, сын Христиан – и таки только Христиан, без Карла, Фердинанда, без Готлиба и Амедея, словом, без всяких недовесков: старик успел уже столько приглядеться к русским обычаям, что считал вовсе излишним навязать сыну целую плетеницу имен: он будет со временем Христианович, утешал Готлиб Амедей недовольную распоряжением этим Катерину Каролину, или Катерину Карловну, и будет с него. От перемены ли климата случилась неожиданная прибыль в доме Христиана Готлиба Амедея, или просто от непостижимости Промысла, но радость стариков была обоюдная – относя слово к брачной чете; что же собственно до многообещавшего младенца, то он был, кажется, рождением своим недоволен; по крайней мере он кричал фистулой в течение целых первых суток. Старик протверживал тогда новую увертюру и только во время пауз или молчков второй скрипки, представителем которой был Виольдамур,



раздавался непрерывный второй голос новорожденного сына его. Голос этот обещал уже со дня рождения огромный объем и силу. Обстоятельство это убедило старика вполне, что из мальчика выйдет прок, будет со временем славный музыкант, и первый дуэт между отцом и сыном был таким образом разыгран в самый день рождения последнего. Старик положил скрипку, подошел к крикуну, ощупал указательным перстом мягкий череп младенца – остановился пальцем над бровью, неподалеку виска – и сладостно улыбнулся. "Из него выйдет славный музыкант,- сказал Готлиб, подавая своей Катерине Каролине руку,- шишка музыки – которую земляк наш флейтист называет органом – шишка музыки развита у него необычайно".

На другой день, когда малютка поуспокоился немного, сошлись ближайшие приятельницы Катерины Карловны, нянчили, целовали наперерыв нашего рачонка и спорили: на кого похож, на отца или на мать? Примет в пользу того и другого мнения нашлась бездна, так что одна сторона уверяла: это вылитая мать – а другая божилась и клялась за от-

ца и не понимала, как можно быть слепым до такой степени, чтобы не узнать в ребенке до единой все черты папеньки. Шагнем для решения этого спору при открытых дверях, то есть, в вашем присутствии, почтенные читатели, недели на три вперед; вот вам налицо вся семья: старый Христиан, молодой Христиан, оправившаяся и принарядившаяся по-домашнему маменька и кухарка Акулина, которая между прочим путалась всегда, когда спрашивали ее: откуда она родом, и припоминала, из Пскова ли она или из Гдова. Акулина, по случаю повышения своего в чине няньки, получила в подарок новый бумажный платок; переменяв верхнее платье, она преобразовалась как личинка бабочки, вышла еще цветистее и пестрее прежнего и с самодовольствием вступила в новую свою должность. А чтобы вы не сомневались в доброхотстве ее и заботливости о народившемся на свет художнике, то она и является в люди с огромной деревянной ложкой, приспособленною едва ли не к собственным ее устам, распоротым, как изволите видеть, по самые уши,- с мискою лапши или каши на целую артель – и, нако-

нец, с добродушною улыбкою, которая говорит ясно, что ей не жаль ни лапши, ни каши, ни молока, ни своей большой деревянной ложки. Папенька протвердил на вечер "Багдадского Калифа", положил скрышку и надрывается в нежностях; маменька зовет Христиньку, который лежит теленочком, между тем как няня уверяет, что он не пойдет ни к кому, а любит няню свою и хочет у нее остаться. У отца, кажется, должно быть не более волос на голове, как видим у сына; но зато отец едва ли не богаче сына одним зубом. Решайте сами, после этого, на кого похож сын?

Катерина Карловна рубила пеленки, когда Христиан Адамович возвратился рано вечером домой с какой-то пробы и привел с собою вторую флейту, старого товарища своего, с которым иногда забавлялся в пикете. Пикет пикетом, но был тут и другой еще умысел; вторая флейта – с которым сдружился Христиан Адамович как вторая скрышка – хотя злые языки и уверяли, что он играет третью скрышку – вторая флейта знала много толку в кранологии, краноскопии, физиогномике, за-

нимался также мистикой, симбалистикой, ка-  
балистикой, хиромантией, алхимией, астро-  
логией и составлял гороскопы; а Христиан  
Готлиб думал, что уже время позаботиться  
о воспитании первенца своего и узнать по  
крайней мере склонности его, дарования и  
предназначение. Старик лет двадцать ждал  
рождения сына и в это время на досуге часто  
размышлял о воспитании; он все передумал,  
все решил, был уверен, что никто в мире не  
сумеет воспитать сына так, как он, и собирал-  
ся заблаговременно сделать свои распоряже-  
ния.

— Пойдемте, друг мой,- говорил Христиан,  
подводя вторую флейту за руку к своему Хри-  
стиньке,- взгляните на моего мальчишку да  
порадуйте меня добром. Голова, кажется, мно-  
гозначительная: затылок круглый, лоб кру-  
той, нос будет орлиный, глаза умные, боль-  
шие, а уши – посмотрите-ка, уши – что бы это  
значило? а?

— Нидерландская кровь,- отвечал тот,-  
всюду скажется: род ваш, любезный земляк,  
искони славится своим художественным об-  
разованием относительно музыкальных ин-

струментов, то есть относительно инструментов струнных, хочу я сказать, потому, что всякому дано свое: смычок – ваш скипетр; несбыточное дело, чтобы сыну вашему быть в своей семье уродом, и бог благословит вас радостью; да, уши настоящие тимпаны... только заботьтесь, Катерина Карловна, приглаживать их под шапочку; уши даровитые, что и говорить, но топыриться им не для чего; выставлять напоказ дарований своих не должно; углубись в себя, сказал один знакомый мне мудрец, потому что скромность есть мать всех пороков... то есть доблестей, добродетелей,- хотел я сказать – и это истина.

– – Вот он перед вами, куманёк,- продолжал старик,- надеюсь, вы позволите мне называть вас кумом и не откажетесь крестить у меня сына – жена, проси старого друга нашего: крестины в будущую среду. Акулина, размотай свивальник, раскинь пеленки, дай нам поглядеть на малютку, в первобытном виде его, как бог его сотворил нам на радость, а себе на славу; а ну, покажи!

Мальчишку развернули, и вторая флейта стал щупать его кругом, перебирать по нем

пальцами, как по флейте.

— А! — сказал он наконец, когда ребенок начал побрякивать и повертываться. — А да; животное-душевный человек в мальчике этом сказывается только посредством пяти чувств, острых, тонких, чутких; умственно-душевный человек решительно преобладает; он редко будет увлекаться внешними впечатлениями, а будет творить самобытно. Воля ваша, это будет гений!

Между тем гению надоело лежать нагишом или ему досадила вторая флейта, который месил и щупал его со всех концов, беспощадно, словом, Христиан Христианович прогневался, начал блажить и заревел таким страшным голосом, какой иногда только вырывается, может быть, и то невзначай и целою октавой ниже, из какого-нибудь серпана.

Вы видите сами: каша полетела, ложки и плошки полетели, чепец со старой Акулины полетел, няня приговаривает во все горло: утки летели, гуси летели, козы летели, бараны летели — топает ногой и трезвонит во всю силу в валдайский колокольчик; больше действовать ей нечем, не взыщите; маменька,

желая утешить своего Христиньку, схватила арфу, ударила в струны и переливается во все лады: тра-ла-ла, тра-ла-ла; папенька дерет на скрипке немилосердно второе, веселенькое колено grosфатера, не дав себе даже времени настроить скрипку, и кричит, поплясывая с ноги на ногу: оло-ло, оло-ло! Для постороннего слушателя музыка эта, видно, тяжела; алхимика и черепослова нашего по крайней мере она осилила и одолела. Он, конечно, и сам был музыкант и надувал вторую флейту не хуже того, как новый кум его пилил знаменитую вторую скрипку, но от такого разногласного концерта убрался на другой край комнаты, заткнул уши и спешит высунуть хотя одну голову с ушами на свежий воздух, предавая остальную часть грешного тела своего на истязание.

Премудро устроено все на свете: вечного нет, и всякая беда и горе, все временно. И Христинька блажил не более как часа два или три, а затем успокоился, и все находили, что он преумный ребенок. Когда же случалось и после, что подобная хандра на него находила, то меры успокоения были всегда почти одни

и те же: все наличные музыкальные инструменты, все певчие и не певчие голоса, валдайский колокольчик, кулак, которым няня барабанила до усталости по столу, тра-ла-ла, оло-ло и прочее. Если этим не удавалось унять крикуна, то по крайней мере можно было заглушить самый крик и воображать притом, что ребенок забавляется.

Христинька рос не по дням, по часам, подрастал, по мере того, как его кормили лапшой и сменяли пеленки, но не умел никогда попросить того, что ему хотелось, а изъявлял всякое желание свое криком, который соразмерялся со степенью прихоти или настойчивостью желанья; таким образом Христинька смолоду бессознательно еще посвящался во все таинства обаятельной музыки; переливаясь день-деньской голосом своим из *pianissimo* {очень тихо (*um.*)} и *piano* {тихо, слабо (*um.*)} через *crescendo* {постепенно увеличивая силу звучания (*um.*)} в *forte* {сильно, громко (*um.*)} и оглушительное *fortissimo* {очень сильно (*um.*)}, начиная напев свой иногда *largo*, *larghetto*, *adagio*, *adagio con espressione* {медленно, торжественно; замед-



ленно (умеренно медленно); тихо, спокойно; спокойно, выразительно (*um.*), он по мере того, как няня старалась отвлечь внимание его от приглянувшейся ему вещи, бил меру ногами и руками, переходил внезапно в *allegro vivace*, *presto*, *prestissimo* {сильно и одушевленно; скоро, быстро; очень быстро (*um.*)} и оканчивал нередко свою импровизацию такой запутанной хроматической фугой, от которой у слушателей волос подымался дыбом, фугой, которую и сам знаменитый Себастиан Бах не сумел бы развязать и заключить иначе, как подав упрямому мальчишке вещь, за которую он потянулся. То же самое делала и старуха Акулина, и маменька, и папенька, наперерыв один перед другим. Исполдволь это вошло в привычку ребенка, и крик заменял Христиньке всякое словесное изъяснение. Скоро в спокойном и тихом домике Виольдамура все пошло вверх дном: стаканам, чашкам – с вензелями и без вензелей – оставалось одно только убежище и спасение от новорожденного музыканта: старинный стекольчатый шкаф, на который Катерина Карловна по этому поводу отпустила в ремонт для по-

стройки занавески одну из поношенных цветных исподниц своих. Это сделалось необходимым, потому что острый глаз Христиньки проникал сквозь стекольчатые двери шкафа, и ребенок не принимал никаких отговорок няни, что "чашка де за стеклом в шкафу, а шкаф заперт, а вот постой, папенька придет домой, принесет яблочко" и прочее, но требуя музыкальным способом своим чашку, миску или кружку, достигал-таки наконец цели неслыханною обширностию голоса и возрастающею настойчивостию разнообразной хроматической своей фуги.

По всему этому видно, что из Христиньки должен был выйти со временем замечательный музыкант: в этом по крайней мере были уверены отец и мать; но они довольствовались этою уверенностью, ждали спокойно, скоро ли благодатная природа разовьет самобытные дарования любимца своего, а потому о воспитании, образовании сына на деле мало заботились. Куда девались мудрые и благие намерения Готлиба Амедея, который рассуждал бывало по целым часам о том, как должно воспитывать детей; что случилось со

всеми затеями, которые он мысленно готовил для примерного, во всех отношениях, образования своего будущего, ненаглядного детища? Вышел, кажется, один из тех нередких случаев, где слово осталось само по себе, а дело само по себе, как единорог и пушка в известном ответе нашего солдата. Христинька не видал в доме отцовского ничего, кроме струн, смычков, арфы и фортепиан; не слышал ни о чем более, как такой-то опере, балете, увертюре, концерте; имена Моцарта, Гайдна, Тица и других не сходили с языка беседующих; однообразие это прерывалось только обедом, ужином, чаем, завтраком, хозяйственными заботами Катерины Карловны да предвещаниями второй флейты, в которых и отец и мать понимали только одно, что Христинька родился на свет гением и будет гений. Не мудрено, если и сын понимал не больше, гений означало в его понятиях добрый мальчик; он охотно присвоил себе это название и когда не умел еще сказать: я хочу пить или есть, говаривал: *жени* {от *фр. genie*). – гений } хочет пить, чем премного утешал родителей и посетителей, которые обни-

мали, целовали его и всячески старались упрочить за ним уверенность, что он действительно гений. Готлиб Амедей, с своей стороны, как мы видели, много заботился об исследовании всех природных дарований первенца своего, надоедал всему оркестру, всем собратам своим, рассказами об удивительных способностях сына, о невероятных дарованиях, которыми тароватая судьба его наделила, и этим почти ограничивались родительские заботы о воспитании сына. Он плохо выучился грамоте, едва знал таблицу умножения, но зато с утра до вечера скрыпел на скрыпке, надувал кларнет, стучал безумолку по клавишам; и эту склонность к музыке отец в особенности старался поощрять и поддерживать.

Взглянем теперь на праздничную семейную картину, где ребенок отличается на скрыпке – это первая велико-торжественная попытка его в тесном домашнем кругу – отличается перед знатоками, и в том числе перед глухим дядей, с матерней стороны. Старательно водит гений наш смычком и перебирает пальцами, на которые с торжеством глядит предсказатель, вторая флейта, уверяя, что ру-

ка Христиньки и по сложению своему настоящий долгоногий паук и сотворена для скрипки. Дядя, оглохшая отставная валторна, слушает в рожок и принял, про запас, еще другую меру: оставил продушину, растворив рот; это он делает во всех подобных случаях, с тем вероятно, что если де ничего не попадет в уши, то авось попадет хоть в рот. Вторая флейта вооружился очками и не спускает глаз с паучка своего, стараясь небольшим кривлянием пособить крестнику при затруднительной переборке пальцами,- между тем однако же у этого крестника сводит рот под самое ухо. За стулом флейты стоит кларнет, у которого благообразные губки, видно, нарочно устроены таким образом, чтобы плотно охватить мундштучок кларнета и не пропустить мимо косточки ни одной струйки воздуха. За другим стулом видите человека, которого, судя по губам, можно бы причислить к трубачам или тромбонистам, а судя по решительности приемов и плечистым рукам, едва ли он будет не литаврщик. Отец и мать говорят за себя сами, об них говорить нечего; она обливается и умывается слезами радости,

не постигая милости Создателя, который даровал ей дожить до такого благополучия; а старик отец, разодевшись для этого чрезвычайного случая празднично – в коричневый сюртук со светлыми пуговицами и накрыв голову вместо колпака париком, впился нежным отчим взором своим в гения, легонько постукивает ногою в меру, между тем как руки, пальцы и манжеты окостенели, кажется, от удивления и невыразимого удовольствия.

Таким образом Хрустинька подрастал и сменил уже цветную рубашонку и тканый пояс на сюртучок, при котором только белый откидной воротник напоминал еще возраст молодого виртуоза. Отец брал его нередко в оркестр театра, который был для мальчика новым миром; оркестр в особенности привлекал все внимание и любопытство его, и он непременно сам хотел выучиться играть на всех инструментах, в чем успевал с удивительною легкостью. Старика это тешило до крайности, и он не мог нарадоваться на свое милое детище. Кранолог часто ссорился с Готлибом Амедеем за духовые инструменты, требуя, чтобы Виольдамуры раз навсегда от них

отказались и оставались при своем смычке; утверждал, что молодому Виольдамуру не дадутся ни кларнет, ни флейта и что это значит только заедать чужой хлеб, но Готлиб уверял, что у сына его ко всем музыкальным инструментам одинаковая способность и что гений этого мальчика ни в чем не может встретить затруднения: тут надобно дать полную свободу природе, говорил он, и более ничего. Пожилая лавры в кругу снисходительных к ребенку музыкантов, Христинька стяжал успехами своими почетное имя Христиана Христиановича; отцу такая вежливость собратьев его чрезвычайно польстила, а Катерина Каролина, вспомнив предсказание мужа своего, что придет де время и Христинька будет Христиан Христианович – с того самого дня, в который услышала, до какого почету дожило единственное детище ее – не называла его никогда иначе, как по отчеству, – хотя даже говорила с ним по-немецки, например: "Либер {милый (нем.)} Христиан Христианович, выпусти кошку на двор, она царапается в двери".

Что шагнет человек, что перекачнется

неугомонный маятник, то невольно вспоминишь о суетности мирской, о непостоянстве, изменчивости счастья. На немногих страницах нашего рассказа мы уже вторично возвращаемся к этому роковому предмету и по необходимости еще не раз будем к нему возвращаться. Счастливая невеста идет к венцу, подав вождеденному жениху своему с любовью руку – блаженству, кажется, не предвидишь конца, столько его впереди – но через две недели какой-нибудь оборотень пробежит между молодыми – и где тот ангел кротости, где невеста? Нет ее; она и сама уже оборотилась, против воли и сознания своего, в злую бабу. Докучливая, пронырливая муха села честному, трудолюбивому и довольному судьбой своей чиновнику на висок; занятый спешными делами, прилежный писец чинил в это время перо, хотел, вышедши из терпения, второпях обмахнуться от мухи, поразил ее на месте и выколол себе перочинным ножичком последний и единственный глаз свой, потому что другой был уже утрачен в младенчестве: и человек этот, со всей семьей своей, пошел по миру. Утомленный дневны-



ми заботами артельщик заснул над коварною свечой, хозяин дома сидит в дружеской беседе на другом краю города – бьет полночь, пора домой, он прощается и едет – но дому нет; стоят одни обгорелые стены, и в стенах этих тлеют еще остатки всего наживного добра зажиточного хозяина и две безобразные головы, два трупа родных и милых сердцу счастливого семьянина. Нам хорошо об этом рассуждать, мы пообжились и пообтерлись на свете и, может быть, познали уже на горьком опыте, во что верить, во что не верить, чего ожидать от самих себя, от других и от самой судьбы, чем оканчиваются все залетные грезы наши – мы давно уже прочли и постигли сердцем приговор человечеству: "На величественном корабле под всеми парусами несется юноша в открытое море, на углой теснице спасается после крушения старик"; но бедному Христиану Христиановичу было еще много горького опыта впереди и богу одному известно, достанет ли у него сил перемочься и устоять против этой вечной вражды стихий, судьбы и людей, которая застает нас, едва ли не в колыбели, всегда врасплох, встречает и

провожает по всем переходам и путям юдольной жизни.

Христиньке минуло пятнадцать лет, и он не знал еще никакого горя; знал только понаслышке, что он гений, то есть очень умный и разумный мальчик, которому все удивляются, и твердо этому верил; готовился, без больших усилий, в виртуозы, и более ни о чем не тужил. Была у него иногда забота о том, чтобы за чаем кормили его не вчерашними черствыми сухарями, а выборгскими кренделями; были иногда небольшие домашние усобицы за то, что ему шили кафтанчики из выношенного отцовского платья, тогда как ему хотелось щеголять в модном сюртучке на шелковой подкладке; но этим тесным миром ограничивался круг забот и все стремления юноши, который видел и впереди только одно довольство, веселье и потехи, не постигая, чтобы дело могло когда-нибудь стать иначе.

Проспавши однажды сном праведника всю ночь напролет, Христинька проснулся часу в осьмом и услышал от старой няни, которая говорила шепотом, что мать его крепко но-

чью занемогла, что доктор был два раза, были и цирюльники с пиявками; что сам папенька всю ночь не спал и бегал раза три в аптеку; что на заре стало маменьке полегче и все заснули. Все это было справедливо; не сомневаемся также в искренности надежды старой Акулины, что "авось вот завтра полегшает маменьке и она встанет"; но между тем доктор на другой день застал Катерину Карловну не на постели, а на столе, воротился из передней, вынул бумажник и карандаш, вымарал No 17-й и поехал дальше. У него было дела много, и, кончив одно, доктор спешил приняться за другое. Старушку схоронили; половина оркестра проводила ее с печалью на Волково, а вечером все опять пилили и надували шумную увертюру в Большом театре; один только Христиан Амедей с сыном сидели дома. Сын не мог еще опомниться, не мог понять и вместить в душе внезапную утрату эту и плакал неутешно; отец ходил молча из угла в угол, садился, вставал, всхлипывал, подходил к окну, плакал втихомолку, поглядывал на сына, но не умел вымолвить на утешение его ни одного слова. Старик ходил, буд-

то вдруг поглупел, и рассеянный взор его, странные, медленные приемы и молчаливость навели бы тоску на всякого зрителя.

Шли дни за днями, недели за неделями – старику нет легче; все то же. "Нет,- сказал он однажды про себя, оглядываясь с каким-то беспокойством,- так мне жить нельзя".- И в самом деле, что могло теперь заставить Христиана Готлиба жить долее на свете? Прежде – другое дело; он был дома, как солдат на притине: ни уйти, ни отлучиться, ни покинуть места нельзя; день шел за днем, всякому дню забота своя, и Христиан Амедей жил и дожил, сам того не замечая, до старости. С утра, бывало, Катерина Карловна несет ему кофе, потом передает чистую манишку на тот день и требует в сдачу вчерашнюю; там надобно подумать о вечернем концерте, балете, опере, протвердить что-нибудь; между тем Каролина Карловна пойдет бывало на Круглый рынок, иногда и на Сенную, насует старику полные руки и карманы ключей и велит беречь их пуще глазу; там зовет к завтраку, там посадит и велит слушать; где и на каком рынке, в каких рядах и лавках она была, что

именно закупала и чего не купила, как плутуют купцы, как вздорожали съестные припасы, как мясник не согласился резать хорошего куска, а она не решилась взять целую четверть; там обещает старику назавтра любимое блюдо его и не дает ему завтракать, чтобы он покушал с досужеством и в охотку; между тем подаст бывало счетную книжку свою, где каждая строчка начинается словом "куплено", и просит проверить и подвести итоги; а тут время идти в театр, да надо перетянуть еще наперед квинту, изладить подставку или даже переставить душу в скрипке; тут сойдутся приятели, покурить, поиграть в пикет, потолковать о всеобщей войне, которая грозит Европе, о старой и новой музыке; иногда соберется квартет,- словом, в то время и подумать нельзя было Христиану Готлибу слечь и умереть, за одним недосугом: час гнал час, минута минуточку; дело на срок всегда было у него впереди; в тихом, укромном жилище господствовала такая однообразная, по часам заведенная деятельность, все занятия, забавы, отдых, домашние и сторонние заботы следовали столь определи-

тельно одно за другим, что если старику и случилось иногда просидеть целый день в колпаке и халате на кожаном, старом диване со светлыми медными гвоздочками, то ему все-таки казалось, будто он делает дело; все в доме шло своим порядком. Христиан Готлиб был как будто глава своего дому, следовательно, ему и казалось, что дом держится отчасти и им. Но как он горько ошибался! Не только дом и хозяйство, сам Христиан Амедей держался одною только суетливою, все одушевляющею заботливостию Катерины Карловны. Если, например, она сунет бывало старику ключи в руки, отправляясь в мясные ряды, то он бодрился, не выпуская связку из рук, или, положив ее перед собою на стол, раскладывал карты, ходил взад и вперед, но все возвращался опять к своему притину, стерег и караулил ключи и сдавал их во всей исправности, когда смена возвращалась из мясных рядов. Он видел, что он нужен дома, где Каролина Карловна беспрестанно звала его и о том или о другом спрашивала; думал иногда также, что в нем нуждались и в оркестре, где он занимал двадцать лет сряду одно и то же определен-

ное место: вот почему он жил. Теперь же со дня на день убеждался старик все более, что ему не только незачем жить на свете, но и жить нельзя; что он дома лишний, в оркестре, где дело шло без него не хуже прежнего, лишний, на свете лишний; а потому он, три месяца спустя после кончины Катерины Карловны, слег, отвечал доктору, которого привел сын, что спал беспокойно, разметался ночью, а как некому было прикрыть его, то и прозяб немного, а может быть и простудился; давал щупать пульс, выпивал послушно одну снадоблицу за другою, покуда наконец доктор не догадался, что болезнь эта называется просто *marasmus senilis*, старческая дряхлость и прописал лепешечки с ипекакуаной, для возбуждения позыва на еду. Но старика позвало вскоре в противную от еды сторону – в могилу. Так же спокойно и покорно повиновался он и этой необходимости и скончался с тою же улыбкою рассеянности на устах, с какою расхаживал бывало из угла в угол, сам не зная, куда ему деваться. Насилу догадался старичок! На то родятся молодые, чтобы старые умирали; ты сына поставил на свое место – и

выходи вон, и ложись. А сын твой пусть поплачет над общею родительскою могилою, и это в порядке вещей. Затем – прощай, добрый Христиан Амедей, лежи смирно да слушай, как над тобою трава растет.

А ты, вступивший на попрание мирское на смену отца, прислонись сиротскою головою к холодной ограде, которую расступился сделать глухой дядя твой, простой камень со знаменем спасения: нужна еще голове твоей опора, не снесут ее молодые плечи, усталые руки не поддержат, они опустились на подломившиеся колени. Сажень земли разделяет тебя от отца и матери – сажень земли, это более чем десять верст чего-нибудь другого, например воздуха; оттого, говорят ученые, что земля плотна, а воздух жидок. Крут переход из такого жидкого воздуха в такую плотную землю – а делать нечего: середины нет.

Но между тем, друг мой, Христинька, как ты, убитый горем, глядишь в плотную и тяжелую землю, от которой иногда безрассудно требуют, чтобы она легким пухом лежала на груди покойника – между тем есть еще на свете люди живые, которые думают и гадают о



живом. Чтобы не ходить далеко за примерами, то возьмем хоть доброго дядю твоего, давно уже сменившего валторну свою на слуховой рожок. Добрый дядя твой, хоть он и глух, хоть он и отставная валторна, заботится, однако ж, более о житейском и нажитом своем добре, нежели ты сам. Между тем как ты сиднем сидел на холодной плите и доспрашивался у безответного камня: что теперь из тебя будет, не заботясь о том, что у тебя есть, дядя твой позаботился уже и о том, и о другом: он, как человек старый и немощный, на кладбище ехать не мог; но он распорядился в это время забрать все, что только было в живом жилье отца твоего, и свез все к себе на дом; он отпустил милостиво старую Акулину твою с чистым аттестатом; сдал своему дворецкому чашки, кастрюли, ложки и плошки из родительского дому твоего – а дворецкий этот была старая Тио, сердобольная баба средних лет, которая называла себя, *ведкою ис Фиборг*, то есть шведкою из Выборга, и крестила метлой и кочергой всякого без разбору, кто называл ее чухонкой. Вы могли выбрать Тио как угодно и она, не оставаясь в долгу, правда,

расплачивалась тою же монетой, однако же подобная ошибка все еще ограничивалась словесными прениями; но вам только стоило назвать ее чухонкой и – не прогневайтесь: она отвечает в тот же миг помелом или метлой. Видно, она была уже такого щекотливого сложения. Итак, Христинька, дядя твой очистил наследственное жилье твое, рассчитавшись честно с хозяином; перетащил все к себе и сказал своей Тио, что долг родства велит ему принять тебя, сироту, к себе в дом на пропитание. Отставная валторна и "ведка ис Фиборг", хотя и были оба иностранцы, однако ж объяснялись между собою по-русски – потому что он не знал шведско-выборгского языка, а *она* не знала немецкого. Если к этому присокупим еще, что обоюдные успехи их в русском языке сохранили все оттенки и особенности финского и немецкого словосочинения – что он был туг на ухо как барабанная шкура, а *она* несколько туга на понятия и, притом, как мы сейчас видели, нетерпеливого сложения – то читатели поймут, что всякое отвлеченное объяснение между этою четою представляло некоторые, иногда довольно

упорные, затруднения. При всем том, однако ж, кроткая Тио поняла наконец в чем дело, была нововведением этим крайне недовольна и выразилась даже на твой счет, любезный Хрустинька, несколько резко; она сказала: "На сто ему эта порты кормить, пусть истохнит она"; дядя, однако, против обыкновения, одержал в этом случае победу, сумел задобрить, успокоить и убедить разгневанную хозяйку. Видно у него нашлись в запасе доводы очень ясные, яснее так называемых математических; я полагаю так, во-первых, потому, что Тио жила у дяди в доме уже лет двадцать и повелевала жезлом своим, метлой, безусловно и неограниченно и дядю твоего только что не заставляла служить по-собачьему, во-вторых, потому что она не сильна была в математике и доказательств математических нисколько не уважала. Так, например, когда дядя, еще в первые годы своего холостого хозяйства, вздумал было усчитывать домашние расходы своей Тио и поверять ее, требуя, чтобы она отдавала отчет во всякой копейке, то стряпуха Тио бывало являлась преспокойно каждое утро с огромным березовым

поленом, на котором насечено было косарем случайное количество зарубок: это была счетная ее книга; – перебирая ногтем зарубки одну за другою, она говорила: "масла десять копек; 'леба двадцать копек, рицать копека сабула на сто; соли осем копек,- исцо 'леба двенадцать копек,- другой масла двадцать копек, тридцать копек сабула на сто"; – и так далее; если же за всем тем, и несмотря на частое введение в расход особой статьи под названием *сабула на сто*, то есть забыла на что, все-таки чего-нибудь до взятого ею на расходы целкового не хватало, и дядя старался доказать ей эту математическую истину простым сложением, то наша Тио, покачав головой и понянчив полено, отвечала: "Как вам не стыдно, ви такой вещи говорите; се'здор эта; когда я говору ус сто я снаю, сто тут се'есть – ну?" – а затем отворачивалась преспокойно и, плюнув, уходила на кухню и принималась застряпню, будто кончила дело свое как нельзя лучше. Времена эти уже впрочем прошли и прошли давно; вы сами знаете, как время скоротечно и времена изменчивы – нынче уже давно, давно дядя не смел и подумать об уче-

те домоправительницы своей и был очень доволен, если, сметив решительную слабость ее в математических выкладах, мог наоборот исплошить ее, обсчитав и утаив частицу, коротко известных ей, доходов своих.

Когда Христиан Христианович в крайнем изнеможении духа и плоти возвратился с кладбища домой, то вместо обычных, коротко знакомых ему предметов застал он там только дворника со щеткой, судомойку с лоханью и тряпицей да хозяйского кучера; они советовались сам-третей между собой, мести ли опорожненные комнаты, или бросить так, или же испросить на это особенную волю и разрешение хозяина, слышав де от старых людей, что если вслед за сошедшим постояльцем вымести комнаты, то не скоро наживешь нового и что поэтому мести надобно не прежде, как когда явится кто-нибудь смотреть квартиру.- "Дурак ты,- говорила судомойка, поставив лохань на пол и засучивая рукава, – да ведь он не сошел, а помер".- "Коли помер, так стало быть и сошел",- заметил замысловато кучер; повесил голову, подбоченился и прогулялся по комнате в каком-то недоумении шага три

взад и вперед, как будто размышляя, так ли это будет, что он сказал, или нет,- "Один помер,- молвил надумавшись дворник со вздохом, – а другой сошел; старик помер, а молодого, вишь, глухой к себе берет".

На это ни у кого в совете *трех* ответу не пригодилось: кучер подошел к окну и стал на-свистывать сквозь зубы заунывную; дворник, прислонившись задом к стене, оборотил щетку на себя, упер конец рукояти в пол и лег обоими локтями и бородой в густую щетину, так что из нее пыль столбом встала; судомойка же осталась с засученными рукавами и лоханью вовсе без дела и, обращаясь то к одному, то к другому, тараторила не переводя духу, как будто кто барабанил по лубочному лукошку, и глухой отголосок вторил ей со всех четырех углов опустевшей комнаты.

Вот почему мы и видим Христиана Христиановича у сиропитательного дяди, куда пришел он поневоле, вслед за всем добром своим, нашедши в квартире отцовской одни только голые стены и недоумевающих в важном деле слуг господских. У дяди, как вы видите, свои понятия о гениях и об изучении свобод-

ных искусств; приняв на хлебы племянника, он взял его и в науку и начал тем, что растеребил целый голик на преизрядные пучки розог, которые, бесспорно, были уже и в работе; это ясно по обломанным и рассыпанным на полу прутьям. Прическа бедного Христиана является в таком расстроенном состоянии, что едва ли его не причесал за наукою сам глухой дядя; а взглянув на пучок розог, который этот держит наготове, позволено предположить, что Христинька не случайно стоит во время уроков нараспашку и без подтяжек, а что это должно быть одно из вспомогательных для науки распоряжений, для большей сподручности и для выигрышу времени.

Видно усилившаяся в течении последних лет глухота дяди служит ему большой помехой в музыкальных уроках и он поневоле прибегает к вспомогательным учебным средствам. Сам он наводит валторну прямо на ухо себе, мальчика заставил еще поддерживать мудрую учительскую голову и нажимать на раструб; но и тут, кажется, не много музыки этой попадет, куда следует, или она не доходит до места – и дядя неясно слышит, верно

ли трубит его племянник. Недоумение это написано у дяди на лице; а Христинька дудит по заказу едва ли не все одну и ту же ноту. Тيو неразлучнее с метлой своей, чем суворовский солдат с ружьем; но если валторна служила только вступлением к уроку и лежащие на стуле кларнет и флейта ожидают своей очереди, то едва ли не потребуются еще и другой голлик домоправительницы на подмогу первому.

Дядя учит старательно, хочет сделать из племянника человека, - это видно по всему: он не довольствуется тем, что звук попадает ему в рот, он настоятельно хочет залучить его в ухо и потому настаивает на валторну и колотит ученика, если в окостеневшее ухо его, при всем старании ученика и учителя, ничего не попадает.

Жизнь раздольная для мальчика, что и говорить! Родной дядя, конечно, лучше постороннего знает, как обходиться с племянником своим; но не будь дядя этот глух, мы бы замолвили словцо за своего бедного Христиана. Христиан попал впрочем в такое воспитательное заведение, где не был ни минуту без



надзору и переходил весь день из рук в руки: коли дядя рассердится на упрямую Тио свою, которая делает все по-своему, не удостаивая глухого хозяина ни ответу, ни привету, то он принимается за племянника и сует ему, не говоря ни слова, валторну в рот; хозяйке своей дядя не смел сказать лишнего, а над кем-нибудь выместить все это надобно, так не проглотишь; если же Тио в свою очередь злилась на дядю, то у нее за все, про все отвечал племянник. Синяки не сходили с плеч, рук и других частей тела Христиана Виольдамура; время летело своим чередом, не дожидаясь животельных усилий природы, а синяки эти были всегда подновляемы заблаговременно. Тио, не обинуясь, попрекала питомца своего каждым ломтем хлеба, каждым глотком воды; этого мало, она долго злилась на него без всякой причины, до того ненавидела мальчика, что принимала его всеоружием своим, метлой, в штыки, где только представлялся ей малейший к тому повод. Христиану не было житья, потому что жалобы его или не доходили вовсе до свинцовых ушей дяди, или же, если Христиану и удавалось иногда пла-

чем и указанием на синевицы объяснить дело, то дядя, для скорейшего окончания докучливого разбирательства, давал племяннику заушину и сажал его за науку, приказывая трубить и надувать себе в ухо. Это было у него признанное и испытанное средство, чтобы внезапно заставить мальчика переменить плаксивое выражение в лице, принудить его расправить губы, поднять нос и надуть щеки. Так шло время; Христинька жил со дня на день истинным мучеником, не зная что начать; изредка только мог он отпроситься на могилу родительскую и оттуда возвращался, облегчив сердце плачем и молитвою. Раз три-четыре видался он на этом перепутье со старой няней своей, с Акулиной, которую Тио спровадила со двора штыком и прикладом всеоружия своего – метлы, когда Акулина вздумала было раз навестить бывшего своего питомца. Тио бранилась еще целые сутки с Христинькой и придиралась, чтобы надавать ему порядочных тычков, уверяя, что Акулина приходила воровать и что окатит ее помоями, если та только осмелится показать нос в двери.

Дядя жил за тридевять земель на Выборгской стороне, в гнилом и полуразрушенном домишке. Когда-то был тут и сад, и огород, а остался один огромный пустырь с болотным озером, самородною принадлежностью всех дач и домов в округности Петербурга. Хлеб иногда дорог у нас, в Питере, а вода, слава богу, нипочем. Озеро это состояло, посредством Тио, в самой тесной связи и сообщении с целым домом и хозяйством дяди: Тио полоскала в озере этом белье; обмывала летом посуду и кормила и поила из того же озера дядю и племянника. На этом же озере и Христинька мыл свои рубашки и Тио таскала его тут же, на плоту, за вихор, способствуя с своей стороны воспитанию мальчика и поясняя ему все прачешные приемы. Когда же он оказал к работе этой некоторую способность, то Тио старалась, чтобы он не забывал приобретенных познаний и навыку, а потому и посылала его уже постоянно на озеро, споласкивать как дядино, так и свое женское белье, кухонные полотенца и даже половики, потому что наша Тио была очень чистоплотна.

Раз как-то Христинька нашел у забора за-

кинутого щеночка, который визжал и плакал жалобно в беспомощном положении своем. Вы знаете, что русский народ сердоболен: у него рука не подыметя перебить полдюжины котят или щенят, которых домашнее животное принесло некстати и не под нужду; но закинуть их – это нипочем, потому что они предаются этим воле божией. Христинька поднял украдкой щенка, выкопал ему на пустыре или огороде печурку, устлал ее травкой и с этого часу заботился более о благоденствии щенка своего – которому дал кличку Аршет – чем кто-нибудь заботился о собственной его, Христиана, жизни и пище. Дело шло несколько дней хорошо; Аршет составлял всю отраду Христиньки, который, глядя на беспомощное положение визгливого воспитанника, забывал собственное свое горе; но вскоре Тио подметила новые проказы племянника, выследила логовище Аршета и в ту же минуту, не говоря ни слова, взяла его по пути с собою, закинула в озеро и, зачерпнув в ведро воды, отправилась обычной тропинкой своей домой. И на этих походах своих, с ведром по воду, Тио никогда не забывала вооружиться

любимой своей метлой; это был маршальский жезл ее, ликторский атрибут, бунчут паши – игрушка, забава, оружие; представитель порядка, опрятности и неограниченной власти; важнейший и главнейший снаряд при всех домашних занятиях; только отправляясь куда-нибудь со двора, Тио расставалась ненадолго с заветным другом своим, ставила метлу в угол и оставляла ее тут, как представительницу свою на все время своего отсутствия. И точно, кто только входил на кухню и взглядывал невзначай на иносказательное изображение нашей Тио, тот невольно смирялся и, робко оглядываясь, искал украдкой: нет ли поблизости подлинника.

Итак, Аршетку закинули в воду, утопили. Но гений – избавитель его, не дремал в это время: Христиан с своей стороны следил за всеми движениями неприятеля, который привлек внимание передовых постов тем, что, захватив щенка врасплох на ночлеге, не утерпел, чтобы не ударить и не пхнуть его ногою до предания казни. Аршетка жалобно взвизгнул – Христинька вздрогнул, прислушался, выскочил в калиточку на пустырь,

увидел и распознал тотчас же все козни отъявленного неприятеля своего, следил украдкой, согнувшись под тыном, за всеми движениями его и, смекнув вскоре в чем дело, принял свои меры: он сбросил куртку, разулся, засучил брюки выше колен и, ухватившись одною рукой за шест тына, пригнулся и вытянулся весь вперед, не спуская с глаз своего противника, как человек, который готовится по первому знаку пуститься бегом взапуски или кинуться, очертя голову, из засады на оплошного неприятеля. Лишь только Тио, закинув щенка и почерпнув рядом с ним водицы на суп дяди, поднялась обратным путем на пригорок, как Христинька стрелой пустился к озеру, вскочил в болото, где едва не увяз, но успел ухватиться за кол и благополучно спас своего Аршета. Христинька оглядывался со страхом и негодованием, не обратит ли неприятель испытующие взоры свои назад: но в этом, кажется, не стоит никакой опасности. Тио удаляется с уверенностью и душевным спокойствием человека, сделавшего доброе дело и отбывшего окончательно лежавшую на нем обязанность. Тем не менее, одна-

ко же, Христиан Христианович был поставлен в затруднительное положение: куда деваться с Аршеткой, каким образом скрыть его от василисковых глаз и сатанинских рук старой Тио? Задача довольно замысловатая; Христинышка, обнимая и поглаживая своего утопленника, жалел, что Аршетка дался ему собакей, а не бобровой породы: тогда бы можно ему выстроить клетку под водой, куда ни взор, ни даже метла Тио не проникали; метла эта, отправляясь по воду с хозяйкой своей, служила для расчистки поверхности воды, где плавала тина, всякий сор и дрянь, и вслед за метлой ведро погружалось в воду. Но подобные невинные желания Христинышки не спорили дела: щенок визжал и дрожал. Добродушный от природы Христиан в жалком положении своем, покинутый всеми, не зная с давнего времени ни своей радости, ни участия и сострадания других, в такой степени привязался к спасенной им от гибели живой твари, что готов был плакать взапуски с Аршетом; Христинышка готов был сделать для него что-нибудь с геройским самоотвержением человека, жертвующего собою для блага

других. В эту минуту, когда бедный мальчик стоял по колена в грязи, крепко держал своего Аршета и с отчаянием глядел на роковую тропинку, опустевшую вслед за удалившейся домоправительницей, он в первый раз почувствовал в себе какую-то силу и самостоятельность, в первый раз постиг возможность покинуть самовольно негостеприимный дом, в который попал вопреки своего желания, словом, в ту минуту Христинька, для спасения своего любимца, готов был решиться на все. Стороною только к этим мыслям приплеталось собственное его бедственное положение, которому он не видел конца. Стоя подле озера, Христиан сажал мокрого Аршета к себе за пазуху, отогревал его и наконец заплакал с отчаяния, не зная, что делать и куда деваться. Босой, полунагой и грязный, в изорванной рубашке и с горькими слезами на глазах, он представлял собою в эту минуту разительную картину нынешней бедственной жизни своей.

Дядя между тем сидел с беспокойством в креслах, оборачиваясь по временам к двери и прислушиваясь с возрастающим вниманием, не собирается ли, наконец, Тιο накрывать



стол. Спросить обеда он не смел: от этого домоправительница давно уже его отвадила; а между тем и стенные часы с кукушкой и самый желудок отставного валторниста докладывали, что час обеда настал. Таким образом, и Христинька и глухой дядя его стремились в эту минуту мысленно к одному предмету, хотя и в противном смысле; один желал с нетерпением появления грозной Тио, другой страшился встречи с нею, и оба были в тревожной нерешимости, как быть и что делать. Внезапно один из них услышал – надеюсь, не спросите который – услышал на улице, за деревянным тыном пустыря, очень знакомые ему шаги, полновесные, но сопровождаемые каким-то шарканьем, да к тому еще знакомый голос помянул, по всегдашней привычке своей, духа тьмы. Мигом Христинька стоял уже подле забора, зажав воспитаннику своему морду, и глядел украдкой в продольную щелку между двух досок: Тио с бутылкою в руке отправлялась в лавочку за квасом – а как до лавочки было не близко, то сердобольный воспитатель, желая воспользоваться отсутствием метлы, опрометью бросился со щен-

ком на кухню, уселся проворно на березовом полене перед топкой голландской плиты и стал обсушивать Аршета, поворачивая его во все стороны. Аршет вскоре успокоился, приютился и стал засыпать на коленях своего барина, который сидел в задумчивости перед челом плиты, почесывая пальцами загривок своего любимца. Но чреватая бедою туча в коварной тишине уже домчалась до деревянного крылечка, и вот ударит гром, и молния поразит стрелой своей неосторожного. Внезапно входит Тио и, ступив ногою в дом, принимает у самых дверей бразды своего правления, которого представительницей служит столь знакомая нам победоносная метла. Трехбунчужным пашой переступает полномочная правительница заветный порог припешной – и не верит глазам своим: Христинька сидит на полу перед плитой, а на коленях у него покоится мнимый утопленник. Тио поперхнулась первым ругательным словом, которым хотела было проложить свободный путь целому потоку доброжелательных приветствий, замахнулась было на питомца своею метлой, но рассудив, что в этом чрез-

вычайном случае нужно действовать поосновательнее, что Христинька, отделавшись двумя, тремя ударами метлы, успеет, чего доброго, выскочить в двери,- Тио сунула всеоружие свое про запас под мышку, надеясь еще употребить его с успехом в свое время, то есть при окончательном бегстве неприятеля и погоне за ним; вцепилась клешнями в самородный парик своего питомца и начала его возить систематически в равностороннем треугольнике: от плиты к окну, от окна к дверям, от дверей опять к печи и так далее. Может быть, читателям нашим покажется странным, что Тио соблюдала в такую тревожную минуту внутреннего волнения особые правила, будто бы не все равно, как и куда повозить за чуб дерзкого ослушника, лишь бы потешиться над ним вдоволь; но Тио во всем любила порядок; она даже собственно для очистки дороги оттолкнула проездом ногой стоящее на пути корыто. В эту минуту Христиан Христианович отправляется гужом к окну, а от окна поедет в одну упряжку к дверям и опять, не кормя, далее, к плите. На выездах он уже закусил, а теперь поезд не остановится,

без особенной нужды или помехи.

Пришла пора Христиньке вспомнить старину и воспользоваться поневоле музыкальным голосом своим: пришлось дать полную свободу голосистой груди свой! Он проревел одну из тех знаменитых волшебных фуг, которые в былые годы приносили ему столько помощи и выручали из всякой беды и горя и напасти! Но час на час не приходится, говаривала Акулина, и она права. Христиан Христианович старается, Как видите, сколько сил в нем есть, и дядя, который недослышит звука валторны, когда ему трубят вплоть под самое ухо, дядя услышал из третьей комнаты эту песнь лебедя, подумал было, что под окнами его явилась шарманка, но, взглянув в окно, обратился, руководимый счастливою догадкой, к дверям соседней кухни, и будучи приятно изумлен неожиданною картиной, наслаждается спокойным созерцанием ее, улыбаясь от удовольствия, что наконец хоть какой-нибудь живой отголосок достиг до окостеневших его ушей! Дядя забыл про обед; он с удовольствием вслушивается в эти приятные звуки; он отходил и подступал несколько

раз к дверям и все прислушивался. Испытуя таким образом слух свой, он наконец убедился, что начал слышать лучше прежнего, и когда Тио подвозила племянника к дверям, то дядя, отступая на самый конец соседней комнаты, оживал вдруг и бодро оглядывался, измеряя глазами расстояние через всю длину комнаты и чрезвычайно утешаясь тем, что слышит довольно внятно все перекаты отчаянного крика племянника. Поковыряв мизинцем в обоих ушах, дядя сел опять спокойно на свое место и, во ожидании будущих благ, принялся за старые немецкие ведомости. Он взглянул только еще раз на часы, вздохнул, надел очки и стал читать.

Между тем утомленная ломовою ездой и неподручной упряжкой Тио, которая по необходимости должна была во все время пятиться задом и усиленно тащить за собою заторможенный на все четыре колеса экипаж,- потому что Христинька упирался ногами изо всей силы и хватался по пути руками за все, что ни попадалось ему под руки,- утомленная Тио покинула, наконец, своего воспитанника, отпустив ему вдогонку метлой три, четыре ли-

зуна; потом взяла щенка и швырнула его могучей рукой из окна кухни прямо через забор. Очистив таким образом свои владения от самовольных вторжений, вымыла она руки и принялась обыкновенным порядком за стряпню. Она, правда, немножко запыхалась, разгорелась в лице и даже ушибла локоть, но была так довольна полною победой над неосторожным неприятелем, который, так сказать, сам напросился на потасовку эту,- так довольна, что молчала и не произнесла ни одного ругательства с той минуты, как выпроводила одного в дверь, а другого в окно. Доброе дело успокоит и утешает: работа кипела у нее под руками, глаза горели, и только решительные приемы ее, громкий стук и брякотня на кухне изобличали волнение, в котором была все утро добрая Тио. Проголодавшийся дядя со страхом и трепетом заглянул наконец в дверь кухни; Тио приветливо кивнула головой, указав на кипящий суп, и вскоре обед был подан.

Но на всех не угодишь, это уже судьба наша. Тио нынешним утром осталась довольна, и дядя остался доволен; напротив того, Аршетка с барином своим, из которых первым

вылетел, против воли своей, в окно, а последний через великую силу нашел дверь и в нее выскочил,- Аршетка с барином были в таком отчаянном неудовольствии, в каком оба еще отроду не бывали. Негодование Христиньки возросло до высшей степени, мысль бежать навсегда из дому овладела им с неодолимою силой, и он, сам не зная что делает, накинул на себя ветхую детскую шинелишку свою, поднял щенка, который на диво был еще жив, и бросился без оглядки со двора сиропитательного дяди. Христиан не успел даже надеть истасканной куртки своей, ни взять на дорогу куска хлеба: он все покинул и бежал со двора, куда глаза глядят. Пугало, поставленное у дверей, знаменитое всеоружие домоправительницы, не испугало на этот раз беглеца; убитый горестию и отчаяньем, он даже не видал этого представителя трехбунчужнойладычицы, а остановился и перевел дух добрые полчаса спустя после того, как перешагнул поспешно через подворотню отставной валторны.

Когда Христианушка опомнился немного, отдохнул, присел боязно на какое-то вычур-

ное крылечко, где попеременно гладил и щупал то своего Аршетку, то резного деревянного льва с косматою гривой, заглядывая в глаза то одному, то другому и почесывая голову свою и спину,- тогда он начал думать и о том, куда ему теперь деваться. Растрепанная снутри и снаружи голова его освежилась немного на воздухе, глаза проветрились, гроза на первый случай миновалась; Виольдамур был уже под другим небом. Тогда, наконец, рассудок взял верх и требовал отчету, куда идешь и что хочешь делать? Подумав немного, Христианушка отвечал: "пойду отыскивать старую няню, Акулину свою: больше мне деваться некуда".

Весь день до вечера плутал и шатался Христиан Христианович натоцк по людным улицам Петербурга, отыскивая свою старую няню. Пышно мчались мимо его коляски и кареты новомодных покровов и названий — перья, цветы, шляпки и пестрые женские убранства неисчислимых наименований мелькали в глазах бедняка, который, среди всей нескончаемой суматохи этой, искал одного только: своей старой няни. Все проезжие



и прохожие эти торопились, обгоняли друг друга и, видно, спешили каждый по важному делу; все были одеты, обуты – все были сыты. Христинька походил в это время на ощипанную каким-нибудь забиякою-воробьем козявку, которая, спасаясь, ползет в пыли поперек дороги, между тем как сотни карет и колясок мчатся туда и сюда по дрожащей под колесами мостовой и козявка наша, припадая за смертью каждый раз, когда с грохотом набежит на нее ухарская четверня, не ждет иной милости не только от людей, но и от бога, как чтобы ее не разmozжили. Христинька после долгих поисков допросился наконец того дома, где жила Акулина, и отыскал ее, в изнеможении от голоду и усталости. Здесь только он очнулся вполне, поплакал, вздохнул легко и свободно, как не вздыхал давно, рассказал похождения свои, и няня плакала и вздыхала с ним и не могла наслушаться его, нарадоваться, наплакаться и наговориться.

"А знаешь ли, няня,- сказал Христинька, опорожнивши порядочный горшок со щами,- когда я стоял на одной большой улице, не зная куда идти, и оглядывался во все стороны,

то ко мне подошли две барыни, посмотрели на моего Аршета, полюбовались им и спросили, много ли я за него прошу? Я был, правда, очень голоден и не знал, куда деваться: боялся, что не найду тебя вовсе, однако Аршетку своего прохарчить не хотел ни за что; я отвернулся и покрыл его полою; барыни посмотрели на меня и прошли".- Акулина подала Аршету еще подачки, погладила его и похвалила своего питомца, а потом, заботясь об участи его, стала расспрашивать, куда девалось все отцовское добро? – "Не знаю ничего,- отвечал Хрустинька,- и не знаю что было, чего не было; должно быть, коли осталось что-нибудь, так теперь все у дяди; кое-какие вещи видел я у него, другие прибрала в кладовую его старуха".- "Постой же, голубчик,- продолжала заботливая няня,- как же так? ведь у твоего у батюшки было много добра всякого, водились и деньжонки: я, живучи у них, царство им небесное, годов с пятнадцать, сам ты знаешь, родимый, другое пятое слово ихнего разговора стала понимать; бывало, воротится домой старик из ломбарта, либо как станут считать по пальцам промеж себя вдвоем, сер-

дечные, когда счета поверяют, то и говорят по-своему, сколько там положено у них денег".- "Что же я стану делать,- сказал вздохнувши Христиан, – не пойду я к этому... и нога моя у него не будет: хоть пропаду с голоду; да и незачем, не отдаст он мне ничего, зачет все за харчи, за уроки, что трубил я ему в ухо, да за розги. Уж сколько раз он мне этим глаза колол, сколько попрекал: так надоела песня эта, что не знаешь, бывало, куда деваться! – кричит, ровно я глухой, а не он: что я нищий, что нечем мне отплатить ему за все труды, за хлеб, за постель, за науку; что одни розги на меня разорят его, а как бывало растеребит на меня голик у кухарки, то та после меня же за это и колотит".- "Сердечный ты мой, Христинька! – стала опять причитывать Акулина,- да неужто господь милосердый эдако беззаконие попустит?" – И стала креститься и положила перед образом земной поклон: "Вот что, родимый мой, я ведь смолоду свет видела, все в людях жила; было тоже всякое время: натерпелась и наплакалась; мне уже и не в диковинку – постой же, не плачь ты, глаза занастаишь даром: я уж за тебя поплачу, не

бойсь, и в молитвах помяну в грешных своих, вот как всегда, видит бог, перстов не занесу, чтоб за тебя не помолиться, вот что. А у меня, дитяtko, тут кум есть, Иван Иванович, а прозывается как – забыла; памяти-то уже у меня, вишь, не стало – Орешников ли, Салтанов ли, что ли – эдак как-то – а Иван Иванович; так пойдём к нему; он, вишь, про все дела эти знает и такой человек книжный, вот-таки добрая душа; у него сенатские писаря есть знакомые и липартаминские {департаментские.}; они хлеб-соль с ним водят; так пойдём, не заступится ли он за тебя: буду кланяться ему в пояс; уж коли он не рассудит тебя с глухим, ну так, видно, богу так угодно; а опричь его некому и таки по целому свету некому, и кроме его никто тебе, дитяtko, ничего не делает. Я стану кланяться, и ты кланяйся, да проси: не покиньте, Иван Иванович, батюшка, заступитесь, за сиротское убожество мое, прикажите глухому черту – прости, господи, согрешение мое: прикажите воротить отцовское добро; вашего милосердия не будет, так не станет на меня на свете никакого порядку, ни милости, ни чести; одна ваша воля, ваша

власть, батюшка!-Так, смотри, говори".

Испросив у нынешних господ своих позволения приютить у себя на одни сутки прежнего барина своего, которого вынянчила на руках, Акулина облачилась на другой день празднично, будто собиралась опять с кумом на крестины, и отправилась с питомцем своим на суд и ряд Ивана Ивановича. Дорогой она купила еще две коврыжки, завернула их в клетчатый платок и все учила Христиньку, как ему надо просить Ивана Ивановича и как от него только чаять ему спасения.

Иван Иванович только что выходил в это время со двора по делам и повстречался на углу с нашими посетителями. И вот Акулина кланяется ему в пояс, отвешивает поклон за поклоном, а Христиан Христианович снял почтительно фуражку и глядит на будущего заступника своего в каком-то недоумении. В самом деле, он неказист на вид и не похож на такого человека, который бы мог волею и влиянием своим изменить чью-нибудь судьбу. Наружность самая не министерская, в этом должно сознаться. Но Иван Иванович, несмотря на разительное сходство свое с обе-

зьяной, представлял собою животное это в самой добродушной карикатуре и имел сердце и душу чисто человеческие. Вы видите плутовские глаза его и чем более всматриваетесь в это лицо, тем более убеждаетесь, что личина иногда обманчива; что человек волею и неволею ходит в шкуре своей и что Иван Иванович, может быть, не так прост, каким он нам с первого взгляду показался. Выпуклый лоб, крутое переносье, подвижная, угловатая бровь, серые остойчивые глаза и круглый затылок довольно замысловаты; нос устроен коромыслом, кажется, только для собственной пользы и удобства страстного нюхальщика и обстоятельство это нисколько общества не касается; нос же этот выпятил за собою и верхнюю губу, да сверх того и золотушное расположение в молодости могло также участвовать в этом образовании губы, оставив такой памятник до старости лет. Вот почему и добродушная улыбка Ивана Ивановича походит на какое-то кривлянье, а между тем в ней есть и жизнь и чувство. Шляпа на нем – дельца известного разряду: помятая, с перехватом, надетая колпаком; платок не

угрожает задушить хозяина, которого шея нуждается в известном просторе, продвигается во время разговора выразительно взад и вперед, тонет в плечах и высовывается внезапно, как у черепахи из кожуры; шея эта ходит свободно в платье, как в хомутике. Сюртук темно-зеленый, заплаченный на Щукинском дворе, новый, с иголки, рублей тридцать; сапоги, подбитые гвоздями сплошь: потому что у Ивана Ивановича ходьбы по мостовой много, и щегольских сапогов не напасешься. Сверток бумажный показывает вам, что Иван Иванович вышел со двора не без надобности; табакерка в руках и платок, перекинутый через локоть – что добродушный Иван Иванович принимает большое участие в рассказе законного наследника, обиженного самоуправством дяди, и собирается дослушать рассказ до конца; Иван Иванович добирается до самой сущности или, по собственному его выражению, до самого *суть*. "Суть", это был вообще у Ивана Ивановича любимый и вспомогательный вид вспомогательного глагола, словцо, которое он вставлял везде, где не знал, что сказать или написать; так он гово-

рил например: ты не суть еще барин; мы не суть великие люди,- заменяя этим неупотребительное *еси* и *есьмы*, и был уверен, что выразился весьма искусно. Но каким же образом Иван Иванович полагает пособить горю нашего бесприютного сироты, покровительствуемого Акулиной? Посмотрим.

Каждому из нас даны свои способности, достоинства и недостатки – или каждый усваивает себе различные качества по наклонностям своим, случайным обстоятельствам и влияниям; бесспорно по крайней мере, что овому талант, овому два и что один и два эти бывают не одинаковы. Не стану припоминать вам знаменитых людей всех родов и гениев такой или иной руки: на что нам лезть так высоко! лучше оглянемся вокруг себя, где стоим. Кому не случалось видеть людей весьма ограниченных способностей, отличавшихся дарованием на числительные выкладки и счетоводчество; весьма изрядного живописца, которого природа обнесла всеми другими дарами своими? Я знал человека, который исключен был из учебного заведения за "непонятием наук", который, дожив до шестнадца-



тилетнего возраста, при всем старании своем не мог вытвердить таблицы умножения и не умел применить ее к делу; а между тем работал превосходно модели разного рода, из дерева, воску, проволоки, хлебного мякиша и клееной бумаги – и в этом деле показывал сметливость, расчет и соображение. Я знал также чиновника, который не умел написать по-русски трех строк, хотя он русский и другого языка не понимал; но он необходим на своем месте, и ни одно мало-мальски важное дело рук его не минует: у него в голове все мелочные подробности разных узаконений и постановлений, весь Свод законов с продолжением своим и все указы, вошедшие и не вошедшие в Полное собрание законов. Прочитав записку, предположение, ход тяжбы – он вам не призадумавшись скажет, что согласно, а что несогласно с узаконениями, на чем должно основать то или другое, где правая, а где виноватая сторона и каким образом должно повести дело, чтобы оно было правое.

Иван Иванович просидел, как вы видите по благоприобретенному складу хребта и по всей посадке его, лет двадцать за зеленым

сукном,- как бывало в старину выражались. Он не сочинитель, не славился никогда тем, чтобы писал складно и красно, а между тем был делец первого разряда. Каждое дело разберет он вам по косточкам, по суставчикам, и, несмотря на приказный язык, которым излагал *сущность, справки, узаконения и заключение*, он давал вам верный, прямой и ясный взгляд на дело, и никакие крючки, плутни и путаницы не могли его сбить с прямого тракту. Ничто не развлекало при подобной работе внимания его, ничто не могло заставить его потерять из виду самую *суть*; словом, ясное и верное понятие, изложенное самым диким, приказным языком, было неминуемым последствием всякого подобного труда Ивана Ивановича. Вот, кажется, главная причина, почему он и был в душе своей честный человек. Неодолимое природное побуждение влекло его к истине, к прямой цели, и он просто не умел обсудить дела криво, ни за деньги, ни из дружбы, не мог и не умел, если бы даже и захотел. Он брал подарки от просителей, от людей, которых дела переходили через его руки, даже иногда сам напрашивался

на гостинец, но был доволен небольшим и принимал его всегда только от людей, которым честный труд его послужил в пользу; словом, он был человеком неподкупным. Если, бывало, хотели его наперед задобрить, если предлагали ему деньги за неправое дело, то он, покачав головой и взяв с особенною ужимкою напойку табаку, говорил преспокойно: "Постойте, милостивец мой, мы не добрались еще до самого *суть*; вот как даст бог, покончим все, да довольны останетесь, так из чести по мере сил своих и удовольствия отблагодарить можете". Если же дело подходило к концу и решалось не к удовольствию докучливого просителя, то Иван Иванович объяснялся с ним откровенно: "Не извольте у нас хлопотать понапрасну,- говорил он.- Это не такое дело; мы с своей стороны покончили, обработали самую *суть* и ниже ни одной лезейки вам не оставили; а коли угодно, идите вот к такому-то, дело теперь у него в руках; он человек смелый; коли возьмет на себя ответ пред богом и великим государем, так вам там счастье с ним будет домашнее дело, а не наше". Если дело решалось, по мнению Ивана

Ивановича, неправо и в особенности без соблюдения даже и наружной законности, то Иван Иванович, осадив лопатки и подав шею свою в хомуте назад, встряхивал табакерку и говаривал: "Экие, подумаешь, смелые на свете люди *суть* - даже не то что бога, а никого не боятся!" А если такое решение было следствием искусной подделки и обставлено было кругом надлежащим образом ссылками и доводами, то Иван Иванович любовался делом этим, улыбался, разбирал его внимательно, прокладывал себе мысленно прямой путь к самому *суть* и заключал: "Вот тебе и наука нашему брату: не городи такого заплоту, чтоб на любом месте доску поднять да пролезть можно было, а клади кругом каменну стену, чтоб ни ходу, ни лазу не было; пусть тогда лезет, кому охота, через конек; коли не выломит шеи, так, стало быть, прав: ну да и мы правы, делать нечего". В этом смысле он и говорил часто о деле, которое поведено было плохо, без уменья и осторожности: "это изба не мшеная"; или, в других случаях: "дельце это надо ухитить кругом основательно, чтоб углы не промерзали", "тут рубка требуется

опасливая, в зуб, да сковородничком, чтоб избу нашу не расперло".

Иван Иванович давно уже был в отставке, сколотив себе кое-как деревянный домишко и огородишко на Петербургской стороне у Крестовского перевозу; этим он и жил, да занимался еще хождением по делам. Важных, больших дел, конечно, у него не случалось, и он за них не брался; но по делам мелким и средней руки он был удивительный мастер и такой искусный стряпчий, каких не много. Пути Ивана Ивановича, как пути судьбы, были неисповедимы; взявшись за дело, которое считал он правым – а за другое он сам и не брался, но охотно указывал на искусных людей, которые-де возьмут,- взявшись за него, Иван Иванович в кованных выростковых сапогах своих и затасканном сюртучишке отправляется, бывало, с утра шнырять по всем частям города; всюду у него есть свои, кумовья, сваты, крестники, кумушки, и таким образом он дойдет черными лестницами до какого угодно этажа. Есть, говорят, приступ к всякому человеку с трех сторон, снизу и сбоку. Пролаз Иван Иванович равно пользовался всеми

тремя путями и так искусно соразмерял удар, что, осадив человека со всех трех сторон вдруг, принуждал его нередко к безусловной сдаче, несмотря на то, что осажденный и не знал вовсе, есть ли на свете такой-то Иван Иванович Салтанов или Орешников, и что первый сидел в это время в осаде на Фонтанке, в Морской, в Миллионной, а последний, осаждающий, за тридевять земель, на Крестовском перевозе, и посадив очки верхом на нос, преспокойно занимался в это время другими делами. Швейцары, камердинеры, кучера и жены их, лакеи, дворецкие, курьеры, повара и фореиторы, прачки, горничные, швеи – все это в случае нужды служило под осадными знаменами Ивана Ивановича; тьма лазутчиков доставляла во всякое время самое верное и точное сведение о состоянии неприятеля, о слабых местах крепости: Иван Иванович подводил втихомолку с Крестовского перевозу свои мины и фугасы, и неприятель сдавался на капитуляцию. Забавнее всего при этом то, что как Иван Иванович был полководец темный, никому не известный, то дело и оканчивалось без всякой огласки и как будто

устраивалось так или иначе само собою.

Второй разряд вольных и невольных сподвижников Ивана Ивановича были: учителя, гувернёры и гувернантки, доктора, откупщики, поставщики, мелкие чиновники, компаньоны, актрисы, художники и проч., эта сила действовала сбоку, между тем как первая подпирала снизу; а для подания помощи сверху Иван Иванович прибегал к содействию тех же верных дружин, направляя удар свой, по законам тяготения, параболического полету снарядов и теории рикошетов – окольными, круговыми путями очень искусно поверх головы осажденного, таким образом, чтобы рикошет, контузия, или отдача орудия, или бтсок снаряда отозвались там, где следовало. В этом искусстве Иван Иванович достиг высокой степени совершенства, и глаз его был так верен, что, окинув местоположение взором, сообразив средства свои и взвесив все обстоятельства, он каждый раз объявлял наперед степень успеха и все его последствия. Удивительно и непостижимо, как Иван Иванович успевал в покушениях своих с такими ограниченными средствами; но он каждый раз с

таким знанием дела опознавал наперед местность, измерял через лазутчиков глубину рва и добывал самый чертеж крепости, что неприятель был всегда у него в руках, и пролом, подкоп или ночное нападение врасплох – всегда удавались. С одной стороны он подъедет кумовством; с другой – подползет усердной просьбой и болтовней; с третьей – подвернется через третьи руки уместным гостинцем и, восходя таким образом до самого его превосходительства, суть, не минуя ни одной степени или ступени, верстал дело и, отпировав победу, ложился спать. Если голова на утро немного болела, то у Ивана Ивановича и на это были разные снадобья: огуречный рассол, лимонная корка, морковный сок, и все это оканчивалось в таком тесном и безызвестном кругу, что Петербург никогда и ничего о ходе этого дела, или по крайней мере о скрытных пружинах его, не узнавал. Знали только иногда, что в таком-то деле приняли вдруг, и бог весть отчего, участие такие-то великие лица; что такой-то сильный человек и с голосом обратил внимание на дело, которое считалось пропащим, а теперь, говорят,



правда всплывает наружу; но как и отчего все это делалось, никто не знал и не подозревал.

Вот видите ли, какой именно талант был у Ивана Ивановича и чем его Провидение наделило, из остальных же талантов людских у него не было зато почти ни одного, он был одарен в высшей степени способностью входить во все подробности чужих нужд и забот, смекать оцупью, по первому приему, самую суть дела, распознавать путь, по которому можно следовать с надеждой в свою выгоду, и, избрав однажды цель, признанную им доступною, стремиться к ней не унывая и не утомляясь, настраивая искусно целое поколение в свою пользу. Иван Иванович знал, что одним канцелярским и судным порядком не всегда достигнешь верно, скоро и приятно цели своей; для того-то он и опутал себя кругом невидимой паутиной разных связей, куда только мог достать своею или чужою рукою, а сидел невидимкой в темном углу и, отправляясь, по мере надобности, по той или другой ниточке во все стороны, добирался до человека, которого посылал куда следовало далее, а сам спокойно возвращался в уголок свой и

наслушивал паутину, не принесет ли она ему ответу. Но зато на все другое у Ивана Ивановича не добьетесь ни ума, ни толку; и если бы вы его не испытали на деле, то могли бы подумать, что это человек не способный ни к чему на свете. Заговорите с ним о чем угодно, для него постороннем, и он отвечает вам бог весть что такое – и смешно и глупо. Вот, например, как он начал объясняться с кумой своей, с Акулиной, наговорившись вдоволь с Христинькой:

— Акулина Петровна! случай был у нас, матушка, вот таки суцая суть: иду я, то есть, от перевозу, так вот, под забором: хотел по делишкам проведать; а уж маленько смеркалось, признаться,- вдруг, матушка, фырк из-под ног собака: таки вот собака, да и полно. Я гляжу: что за Притча! откуда ей взяться тут – собака не суть важность, да взяться ей неоткуда, таки ей-богу неоткуда – гляжу вот – шмыг только из-под ног, и нет ее. Я перекрестился, думаю: ах ты, господи!- тут еще человек случился, прохожий какой-то: видно из ливрейных должен быть,- и он тоже смотрит на меня, глядит, я и говорю ему: ведь оборо-

тень? Оборотень, говорит. Ах ты, создатель, подумаешь... оборотень и есть, ей-богу, матушка, оборотень; вот что!

— Всяко бывает, Иван Иванович,- отповедала Акулина,- всякой народ на свете есть, про это что и говорить. Возьми же куманек, прими на милость гостинце наше да не взыщи, не прогневайся: одну коврыжку себе возьми, кушай на здоровье, другую крестнику нашему отдашь; да вот, родимого-то моего не покинь; заступись, Иван Иванович, за сироту круглого, безродного: господь помилует и тебя; а не будет твоего милосердия, так обидят его, все пропадет; я уж так ему и говорила — кланяйся же, дитятко,- что опричь вас некому над ним милости господней оказать; на все есть ваша власть, что на свете делается, за вами можно поспать ему, коли по сиротству не оставите его, Иван Иванович,- ведь и головушку-то приклонить некуда. Вот пустили по миру, как видишь: ну куда ему, горемычному, деваться?

— Не спохватившись, матушка Акулина Петровна, самую-то суть не разгадаешь; сперва прикинем да примеряем, а там уж отру-

бить не долго. Для вас, матушка, да ради обиженного вот можно по сущности постараться, что бог ни даст. Жительство ему открывається: пусть он у меня на хлебах до самой сущь побудет; сперва надобно поразобратъ дело, да коли наша возьмет, ну, тогда он хлеб-соль мою попомнит: от сил своих наградит меня жертвием, а не возьмет наша,- ну, пиши пропала. Постараться можно.

Затем Иван Иванович воротился с кумой и новым нахлебником к своему двору, отворил калиточку, просил их наперед через порог, посидел, попотчевал куму наливочкой; а когда она раскланялась, повторив еще на прощанье предстательство свое за Христиньку, то Иван Иванович снял с гвоздя измятую шляпу свою и отправился по пути с кумой. Дорогою он еще выпросил ее обо всем, потом пошел кое-куда за справками, как по другим делам, так и собственно по настоящему делу, и уж на этом первом поиске учинил он, по указаниям бестолковой донельзя Акулины, разведку, собрал некоторые справки и, отдохнувши после обеда часок, сидит теперь перед вами за какими-то бумагами или письмами,

относящимися к наследству Виольдамура. Вторая флейта, земляк покойного Готлиба Амеддея, доставил через Акулину Ивану Ивановичу кое-какие сведения о наследстве своего крестника, о котором, мимоходом сказать, не заботился с тех пор, как сделал свое дело, признав его гением.

Но замечаете ли, что Иван Иванович за письменным столом своим как будто поумнел с лица? Ужимка обезьяны уступила место какому-то неглупому выражению, несмотря на нос коромыслом и на хобот под носом. Платочек положен, для сподручности, на колени, табакерочка под рукой, и ничто не отвлекает внимания старичка; штоф и бутылка, с наливочкой и с горьким, греются на солнышке и смирно ожидают очереди принять участие в беседе; очередь эта полагается им впрочем только по два раза в день: утром на тощак да перед самым обедом. Помадная банка обращена в чернильницу, разбитое окно заклеено бумажкой и стянуто ниткой и заверткой; плащи хозяина и гостя, шляпа с фуражкой и полотенце висят на стене; а Христинька точно в том же виде, как ушел из до-

му глухого дяди, сидит на скамеечке, учит своего Аршета разным собачьим наукам, грозит ему и приговаривает: не смей, не смей – и Аршетка служит, да притом и растет помаленьку и хорошеет. Хвост у него уж довольно благовидный, мохнатый. Бандуру Христинышка нашел у нового хозяина своего на стене и очень ей обрадовался; кончив урок с Аршетом, он, верно, сыграет вам и что-нибудь и споет. Иван Иванович держит бандуру эту так, на всякий случай; все, говорит, веселее: думается, что живой человек с тобою, а играть он на ней теперь не играет, говорит, позабыл.

Иван Иванович занимался месяца два, три тем, чтобы привести в полную известность все имущество или наследство Христиана: без этого, говорит, нам нельзя ступить ни шагу. Он брал в допрос поочередно то самого Христиана, то Акулину, вторую флейту и многих посторонних людей, и вносил в особый список каждую вещь, какую кто знал, помнил или видел у Виольдамуров в доме; таким образом у него составила довольно верная опись всей движимой собственности покой-

ного. В то же время он разыскивал еще обстоятельнее о деньгах его и принимал к сведению и соображению всякий намек, не только всякое известие. По таким-то следам он пустился далее, проложил себе тихомолком путь к канцелярским чиновникам кредитных установлений и добыл оттуда выписочки: сколько, куда и когда именно Готлиб Амедей внес денег, сколько, когда и кем из этого числа вынута – и между прочим вывел этими путями наружу, что некто отставной камер-музыкант брал по передаточным бланковым надписям от имени старика Виольдамура деньги по билетам из одного места, относил их в другое и получал билет на свое имя. Словом, Иван Иванович выведал под рукой всю подноготную и усчитал на Крестовском перевозе глухого дядю лучше, нежели тот самого себя когда-нибудь усчитывал, сидя за своей счетной книгой и за билетами. Точность и определительность всех сведений этих была поразительна, и свод им сделан мастерски.

Окончив про себя учет этот, Иван Иванович стал обдумывать дело и нашел, что судным и тяжebным порядком чрезвычайно

трудно будет достигнуть цели, потому что дело было запутанное, давнее и законных доказательств едва ли достаточно. Во всяком случае оно потянулось бы на нескончаемые времена. Рассудив это и припомнив к тому еще всегдашнюю поговорку свою: "худой мир лучше доброй драки" – Иван Иванович окружил понемногу противника своего осадными работами и, пользуясь всеми преимуществами своего положения, коротким знанием местности и обстоятельства, теснил глухую валторну неотступно, день и ночь, подготавливая ему удар за ударом, непрерывною цепью. Таким образом Иван Иванович трогательным описанием несчастий Христиньки успел поднять на ноги весь оркестр, при котором служил покойник; скромный кларнет, самоуверенная вторая флейта, твердая и непоколебимая в счете пауз литавра, все давнишние знакомцы наши и еще многие другие, отправлялись, подстрекаемые Иваном Ивановичем, то вместе, то порознь к отставной валторне и убеждениями, усовещиванием и угрозами старались склонить глухого не брать на душу такого греха, а отдать мальчику законное его до-



стояние.

Первым следствием докучливых настояний этих была смертная ссора глухого со своей Тио; а раздор в стане неприятеля есть верный предвестник победы. Глухой попрекнул ее, что она, неосторожным обращением своим, раздражила и вывела из терпения Христиньку, почему де он и вздумал бежать к чужим людям, которые теперь мешаются не в свое дело. Добродушная Тио разразилась в ответ на это потоком ругательств; желая во что бы то ни стало довести до слуха друга своего эти сладкие речи, она, подбоченясь, нагнулась и кричала ему изо всей мочи на ухо: ты такой, ты сякой; а дядя между тем подставлял ухо и с жадностью ловил речи подруги своей, надеясь услышать что-нибудь утешительное. Он, однако же, горько обманулся: Тио, которой надоело кричать истукану без всякой пользы на ухо, перебрав всякую подручную брань, сунула ему наконец со злости кукиш в рот, а рот, как вы знаете, у дяди всегда стоял настежь, особенно когда он прислушивался. По нечаянности такого вовсе неожиданного оборота разговора, дядя наш, который чуть не

подавился сытым пальцем своей Тио, невольным образом отдернул голову и в то же мгновение сильно стиснул челюсти свои. Дядя был уже немолод, но зубы оказались у него очень здоровые; Тио взревела и зарыкала, выдернула палец свой из тисков и оттолкнула другою рукой кусаку с такою яростью, что он, с легкой руки, полетел затылком в косяк и на этот раз сам *слышал*, как у него голова по швам затрещала.

Таким образом в один этот прием осада значительно подвинулась вперед; а между тем второе полчище выступало уже из разных концов города на поприще, беспокоило и тревожило неприятеля со всех сторон. Второе полчище это состояло из двух самых неуклюжих писаришек, трех канцелярских служителей и одного чиновника; народ, по выражению Ивана Ивановича, мелкий, недорогой, но полезный: их приводил к глухому сосед его, под видом дружбы, для объяснения обстоятельств и положения дела. Сосед этот был человек неподкупный и не продал бы своего соседа, не стал бы его обманывать, но Иван Иванович поднес ему ученого снегиря и пару зо-

лотых рыбок. У одного из гостей был наготове списочек всему имуществу, которое дядя приобрел от Виольдамура – и глухой едва не одурел от удивления, увидев своими глазами, что все открыто, все известно, все что он считал досель шитым и крытым, и не понимал, кто и какими способами мог ему таким образом удружить? У другого случилась черновая просьба, подаваемая будто бы на днях от имени племянника со страшным начетом за провладение и с жалобами на захват имущества, растрату его и жестокое обращение с законным наследником, дабы уморить его безгласным образом и сжить со свету; у третьего нашлась выписочка из уголовных законов, по которым приходилось весьма лишить живота нашего преступника, и притом еще не раз, а за каждую проказу его особо. Нашелся и такой приятель, который будто знал уже наперед мнение по этому делу разных значительных лиц, таких, которых влияние было несомненно. Глухой передвигал только колпак с уха на ухо, поворачивая слуховой рожок то в ту, то в другую сторону, и не знал что отвечать. Две кухарки, землячки нашей Тио, посе-

тили около того же времени приятельницу свою, рассказывали ей о страстях, которые они в таком-то месте слышали по этому делу, и что видно де глухой твой крепко виноват; говорят, ему будет очень худо. Наконец Иван Иванович заложил и третью параллель, как говорят приступных и подкопных дел мастера и хитрые городоимцы, то есть подступил ближе и нанес решительный удар. Для этого Иван Иванович не утруждал себя личным свиданием с дядей, а сидел преспокойно в избушке на Крестовском перевозе и играл с постояльцем своим в шашки; но Иван Иванович пустил в ход западную силу свою обыкновенным косвенным влиянием: истомив противника, как мы видели, непрерывной тревогой, посредством действия снизу и сбоку, Иван Иванович пустил ядро для острастки через голову ему, сверху, и поневоле заставил его оглянуться. Это сделалось таким образом: к отставной валторне входит в одно утро сам капельмейстер, старик почтенный, но суровый, заводит речь по этому делу и говорит сильно и настойчиво. Капельмейстер – это все-таки род какого-то начальства: глядя на

него, валторна невольно вспоминал былые времена, как, бывало, один взмах руки этого начальства безусловно повелевал сонмом покорных рабов; невольное чувство уважения и страху напоминало дяде последние годы службы его, когда у него уши постепенно залегали и он с большим беспокойством следил за движением руки капельмейстера и при всем этом встречал иногда внезапно грозный взгляд его, который обращался мгновенно в тот угол, где валторна, прихрамывая на одну осьмушку, догоняла согласный хор товарищей. По всем этим уважениям, по впечатлению, которое произвело на глухого появление капельмейстера, необходимо надо причислить его к действию сверху.

Когда же наконец, после всего этого, еще и сам частный пристав потребовал к себе глухого и принял его в допрос – то наш князь Тугоуховский сам прослезился от жалости к племяннику, согласился на все предложенные ему мировые условия для любовной сделки; а желая извлечь из этого дела хотя какую-нибудь пользу для себя, он свалил весь грех на домоправительницу свою и выгово-

рил себе одну только льготу: непосредственную и немедленную помощь частного пристава для изгнания из бесспорных владений своих столь знакомого нам трех-бунчужного паши финского поколения, который, завладев самоуправно с давних времен и колом и двором, стеснял со дня на день далее знакомые права глухого халифа. После первой удачной попытки, которой мы были свидетелями, мощная Тио сделалась смелее и свирепее прежнего: она несколько раз уже прибегала к одной и той же развязке при возникавшем домашнем разногласии, а именно: отправляла глухого лбом или затылком в косяк, как сподручнее приходилось, а сама делала, что хотела. Такой однообразный, хотя и сильный, аргумент крайне прискучил глухому; домашних средств на обуздание домашнего зверя не хватало; *ведка ис Фиборг* не только отбилась вовсе от рук, не только сама прибрала к рукам хозяина, не только подымала на него руку – но грозила уже, не шутя, выгнать глухого черта на улицу, не дать ему ни куска хлеба и не пустить даже заглянуть в подворотню собственного его дома. Условие дяди было немед-

ленно принято; частный нашел средства освободить владения его от этого внутренне-го врага, и мир снова водворился, потому что глухой остался один в четырех стенах. Христианушка получил по мировой значительную часть отцовского достояния, составляющую, по скромным понятиям его, необъятную сумму,- и щедро наделил своего благодетеля.

Иван Иванович хохотал от души, утешаясь этой дешевой победой, хохотал, потряхиваясь всем телом, подергивая плечами и покачивая головой своей в хомутике. Он всем сотрудникам своим, всей дружине обещал задать пирушку на славу, если выиграет дело, и сдержал слово.

В назначенный день все в доме Ивана Ивановича ожило, и пошла суматоха. Бал предполагался не такой замысловатый, чтобы заботиться о нем накануне, а с утра было-таки хлопот довольно. Фекла – это камердинер, повар, дворецкий, официант и разве потому только не кучер Ивана Ивановича, что он не держал лошади – Фекла вытирала окна и подоконники, мела, перетирала и чистила запасную посуду, скребла сени и крыльцо; Иван

Иванович отправился в лавочку, в погребок, зашел к булочнику, а потом взял у приятеля на вечер скрышку, да из соседней табачной лавочки напрокат гитару. Вы знаете, я полагаю, что во всякой табачной лавочке торгуют также гитарами, балалайками и римскими, как уверяют, струнами. Отчего балалайка и гитара сходятся здесь по принятому порядку с табаком – этого я не знаю. Иван Иванович взял инструменты эти про запас, на всякий случай, неравно развеселятся гости. Кроме разных съестных и питейных закупок, приглашена была на бал также вся стеклянная посуда с окна в кабинет, посуда, которая давно уже грелась на солнышке и ждала такого праздника.

И вот он перед вами, праздник этот, пир, вечеринка, или бал, как честил его сам радушный хозяин. Из числа женского полу приглашены были только две особы: виновница праздника, Акулина Петровна, которая разливала чай, да еще Фекла, собственно для разносу стаканов. Впрочем, было общество холодное, но почетное, дружина средней руки, посредством которой Иван Иванович действо-



вал сбоку и подпруживал снизу. Наперед всего, удостойте благосклонного внимания своего самого хозяина, который, как от собственного удовольствия, так и по обязанности потешить гостей своих, открывает бал. На лице написано приятное, веселое расположение; а по губам видно, что Иван Иванович приговаривает под музыку: "оступилася, промолвилася" или что-нибудь подобное. Хомутишко на слаби, и супонь не подтянута; плечи сжаты и подпернуты, потому что Иван Иванович собирается присесть; это видно по ногам и коленям его; на левой он стоит довольно твердо, хоть и покачнулся немного в сторону, а правая выразительно на отлете, только что выскочила из-под него, ударив каблучком в пол. От этого собственно сапог ноги этой принял такое же положение, как нос Ивана Ивановича; эту же ногу Иван Иванович выкинет вот сейчас, как только присядет да присвистнет. Но локти и руки плясуна это загляденье; особенно ж клетчатый платок, который придерживается на щипок с такою же аккуратностью, как гильдейская купчиха держит чайное блюдечко, когда пьет вприкуску. Безот-

ветный сюртучишко работает и пирует вместе с хозяином; мы видели сюртук этот на улице, видели дома за работой и видим теперь на пирушке. Взглянем же и на прочих собеседников, которые разделились на четыре отдельные кучки: Аршет, Христинька со скрышкой, исключенный из службы прапорщик с гитарой и какой-то учитель составляют незатейливый оркестр. Учитель настроил в пользу выигранного дела одного из чиновников управы, товарища своего по школе, и теперь наслаждается плодами своих трудов: заблаговременно напился пьян, растянулся во всю длину свою на стуле и орет во всю глотку сам по себе, не заботясь о том, что другие сами по себе играют. Исключенный служивый коротко знаком со многими швейцарами, сторожами, счетчиками и присяжными, а потому и не лишний человек для Ивана Ивановича; притом же он и удалой парень, на все руки и малую толику пропитания своего получает нередко от нашего стряпчего. Исключенный прапорщик этот занимается большей частью тем, что сидит в передних разных присутственных мест, заглядывает иногда и на

почту и предлагает всюду просителям и неграмотным подателям и получателям денег и посылок расписаться за них, подписаться свидетелем при совершении разных актов и сделок, добыть гербовой бумаги, разменять деньги и прочее. Это скромное ремесло достаточно утоляло сильную от природы жажду его – а других житейских потребностей он не знал.

Вторую кучку составляет удалая тройка, хотя она и походит с виду на тройку разбитых почтовых кляч. Это могущественные чернильные души, повитые в гербовой бумаге, искормленные острием пера; они ребята старого закону, принадлежащие к неисследованному еще досель поколению человечества; они даже по складу лица не принадлежат ни к кавказскому, ни к монгольскому или малайскому, ниже к какому-либо иному, учеными физиологами признанному племени, но составляют свое, отдельное подьячее поколение, свойственное исключительно нашей почве и климату. Они смотрят между прочим на постановления и узаконения, как на приятную рощу, в которой можно прогуливаться

по всем направлениям, поддерживая чистоту дорожек только для виду и отправляясь всюду в перевал прямым путем, где нужно в обход и околицей, лишь бы знать хорошо все лазы, пути, просеки, трущобы, чащи и режи, входы и выходы, лишь бы не запутаться и не наткнуться по неосторожности лбом в пень, а обойти в опасном месте, пролезть на карачках или проползти ползком. Прическа у этих трех господ, как изволите видеть, разнородная – у одного волоса свисли в лицо, как нечесаная пакля; у другого поднялись дыбом, как на дикобразе; на третьем только виски обозначаются небольшими клочками поношенной шерсти, а в прочем голова как ладонь. Все трое навеселе; но состояние это обнаруживается в них не одинаково: тот, у которого голова в пакле, натянулся, надулся, насушился – да чуть ли у него еще и душа не просится наружу, по крайней мере рожа у него кислая. Дикобраз, напротив, показывает известную степень лютости, сильно косится на нос свой, а через него и на плясуна-хозяина; дикобраз не может толком сообразиться: что он и где он, а понимает только, что дело как-то не в

порядке, что тут ни на себя, ни друг на друга полагаться нельзя, а потому и старается удерживать собрата своего, который, совлекшись всех сует мирских, блаженствует среди этого раздолья и, приседая понемногу, уже расправил крылья, чтобы пуститься вслед за хозяином вприсядку. Он еледит за каждым движением, за каждой ужимкой Ивана Ивановича и до того удовольствован, что не слышит под собою земли и не обращает никакого внимания на дикобраза, который затормозил его на оба плеча и мямлит суконным языком своим: "Не ходи, брат, плясать, полно, не ходи, ей-богу".

В третьей и четвертой кучке видим только по паре людей; тут чиновник какого-то департамента, оглядываясь через плечо, удостоивает снисходительного внимания своего весьма благовидного канцелярского писаку, который знает по опыту, что всего удобнее оканчивать дела на вечерах, балах и за обедами, и потому, улучив удобную минуту, просит соседа своего, чиновника, принять под свое милостивое покровительство. Эта чета до того занята деловым разговором и пуншем, что не

обращает никакого внимания на увеселительные выходки хозяина. Последняя пара — это Фекла и магистратский писарь; лицо в своем кругу самостоятельное, одно из тех, на которых иногда указывал Иван Иванович, приговаривая: "Он человек смелый, в плечах широкий и сладит дело это как угодно; а счесться с ним вам уже домашнее дело будет, не мое". Магистратский чиновник, который привык ничего не упускать из виду, одним глазом глядит на стакан и бутылку, другим старается принять участие в общем веселье, не желая выпустить из рук стакан, ни проглотить какой-нибудь ужимки Ивана Ивановича и опасаясь, чтобы хозяин не вздумал пуститься вприсядку в ту самую минуту, когда гость займется сочинением пунша. Фекла захватила поднос со стаканами в два кулака, уперла край его довольно твердо себе на живот и, поставив таким образом в твердое равновесие бутылки со стаканами, предалась вполне наслаждению, созерцая внимательно барина своего в веселом его расположении.

В одиночестве и наособицу стоит кума Акулина Петровна в соседстве самовара, ис-

правляя у Ивана Ивановича должность заботливой хозяйки и любуясь поочередно кумом своим и молодым барином, победа которого празднуется над врагами и супостатами. Она несколько не удивлялась счастливому обороту дел своего Христину ки, убеждена будучи, что для Ивана Ивановича все на свете возможно, а кроме его никто ничего не может сделать.

Вот какая пирушка расходилась в этот день на Крестовском перевозе – скрипка, гитара, голос прапорщика и голосище учителя словесности и других наук раздавались за полночь; две бутылочки мадеры, три бутылки рому и штофчик фруктовой были опорожнены; Иван Иванович обнялся и поцеловался на прощанье со всеми гостями, выпроводив почетнейшего из них на середину улицы и раскланявшись с ним в пояс; уложил учителя в углу на полу, потому что учитель этот был не в силах встать сам собою со стула, на котором растянулся, а Иван Иванович не решался положить дорогого гостя на диван, неравно-де свалится да убьется; затем радушный хозяин, покачиваясь слегка, обошел и пога-

сил свечи, простился с Христианом, подавая руку в противную от него сторону и сам не замечая своей ошибки; снял с себя, вздыхая и зевая вслух, обиходный, безответный сюртучишко, лег на кровать не разувшись и укрылся тем же сюртуком. Все смолкло на Крестовском перевозе, тишина воцарилась, музыка, песни, крики и клики сменились четверогласным храпеньем Ивана Ивановича, Феклы, учителя и Христиана Христиановича. Бал кончен, победа отпразднована, и глухому, говорят, в этот вечер много и часто икалось, а в ушах шумело, визжало и звенело пуще прежнего.

Если вы, может быть, желаете узнать что-нибудь о дальнейшей судьбе нашей *ведки ис Фиборг*, то могу вам доложить, что и ей не повезло прежнее счастье: при сложении с себя звания наместницы дома, двора, пустыря, озера и вообще вод, земель, угодий и самой усадьбы глухого дяди и при сдаче знаменитого своего бунчуга она была очень опечалена, а печаль и горесть свою изъясляла Тию всегда бранью и дракой. Что делать, она была такого сложения и в минуту горести сама не была



вольна над собою. В таком расположении застал ее городской, пришедший наведаться по приказанию крепкого в слове своем частного пристава, сложила ли она с себя звание, от которого была уволена, и очистила ли к сроку половину замка, которую занимала? Городской нашел, что Тио наша не сделала еще к отступлению своему никаких приуготовлений, что настоящий хозяин заперся в одной комнате, не желая разделить печаль и горе со своей хозяйкой; заключенный таким образом в самых тесных обстоятельствах, хозяин дома, увидев городского, растворил окно и упрасивал его убедительно и слезно принять решительные меры к приведению в действительное исполнение распоряжений высшей власти – о своей власти он даже не упомянул – и выкурить чем-нибудь не признающую никаких властей отставную комендантшу из не принадлежащих ей владений. К этому глухой еще присовокупил, что он просидел сегодня без кофе и, без завтраку и, по всей вероятности, останется также, без обеда: Тио объявила ему, сквозь запертые двери, что она готовит кушанье только для себя. Прибавим к

этому еще следующее: объявляя это, Тио до того возвысила голос свой, что глухой услышал и понял, о чем идет речь, и, несмотря на неприятную весть, был доволен, что иногда слышит довольно порядочно. За кратковременную радость эту он, однако же, поплатился порядочным желваком на лбу: отставная коммendantша, сметив, что глухой подался на переговоры и приложил ухо к медному замку, ударила кулаком изо всей силы снаружи в дверь, наделив таким образом глухого, по всем правилам динамики, толчком угла медного замка в голову. Из этого между прочим следует, что вопреки обыкновенных понятий, даже и закрытые двери не всегда обеспечивают от наружных кулаков.

Собрав такие положительные сведения, городской вошел в приспешную убитой горем домоправительницы и приглашал ее оставить немедленно заповеданное ей жилище, употребив при этом, между прочим ласковыми выражениями, также слово *чухна*, и еще вдобавок *нечесаная*. Тио, и без того уже расстроенная, оскорблена будучи в глубине души своей таким поклепом, кинулась отста-

ивать с великодушным самоотвержением шведскую выборгскую кровь свою и атаковала немедленно всеоружием своим, которое случилось на беду под рукою, служителя порядков. Если бы она еще попотчевала его сухой баней, то, может быть, он, как человек бывалый, решился бы и сам идти в атаку, не ожидая удара неприятеля стоя на месте, а встречая его, как велит добрая тактика, на ходу; но обещенная домоправительница, кроткая Тио, хотела, из сродного ей сострадания, влечь неприятелю своему удар помягче, пожиже, поплотнее, а потому и обмакнула наперед метлу свою в какую-то нечистую посуду. Опытный в подобных делах неприятель в ту же минуту ударил отбой; но героиня наша неизъяснимою быстротой движений своих поразила его, не дав ему даже времени обратить тыл; а когда он вслед затем обернулся, то она сдвоила удар и облепила таким образом незваного посла этого кругом, спереди и сзади. Последствия отчаянной выходки этой были для бедной Тио самые плачевные; не говоря уже о других, продолжительных неприятностях, с нею за мокрую баню поплатились

сухую; да кроме того заботливое начальство, охотно пользующееся дарованиями и поощряющее способности частных лиц, употребляло нашу Тио целый месяц на очистку улиц, дав ей таким образом случай употребить с пользою для себя и для ближайших ловкость и опытность свою в обращении с метлою.

Между тем Христиан Христианович блаженствовал на воле, с полными карманами, как обладатель несметных богатств, и не послушался добрых советов Ивана Ивановича положить небольшой достаток свой в Банк, довольствоваться процентами и подумать основательно о какой-либо службе. В голове Виольдамура теперь выиграла снова мысль, что он гений музыки и что он создан только для этого искусства. Тяжба его тянулась год, и он в это время довольно успел на скрышке, читался также суждений вкривь и вкось о музыке кое в каких журналах: страсть к музыке в нем опять пробудилась, и он решился жить для одного искусства. Расписав себе великолепную, громкую и славную будущность, он простился с благодетелем своим и перебрался на другой конец города. Иван Иванович, доб-

родушно улыбаясь, нагнулся и подставил шею свою в хомутике под благодарные объятия Христиньки и, почувствовав в эту минуту, что у него левый глаз внезапно заплыл слезою, достает клетчатый платок из заднего кармана. Христинька, как предприимчивый юноша, стоит твердо и самоуверенно на широко расставленных ногах; Иван Иванович, напротив, робко выставил одну ногу вперед, как будто не доверял силам своим и боялся покачнуться. Аршет, который привык служить почти во все время, когда он не спал и не ел, присел на корточки и вглядывается с беспокойством в трогательное явление; Фекла таскает на телегу узелки, подушки и скрыпки бывшего постояльца и также готова, за компанию, прослезиться. Иные уверяют, что в лице русской крестьянской девушки нельзя найти ни одной общей, народной черты, как мы находим, например, в девушках Германии, Франции, Италии. Общей черты может быть и нет; но у девушек наших одно общее лицо: оно печется блином – круглое, пухлое, мягкое, пригорелое, масляное, горячее; все принадлежности этого лица выпече-

ны не во всем явственно, сливаются и заплываю-  
т. Добродушная Фекла по крайней мере  
принадлежала к этому разряду красавиц, и  
когда она плакала, то это заметно было пото-  
му только, что по щекам струились капли во-  
ды. Ломовой извощик, подхвативший чемо-  
данчик молодого барина, не разделяет этого  
общего трогательного чувства. Взглянув ему в  
лицо – если это позволительно назвать ли-  
цом – мы должны убедиться, что его может  
трогать только то, что подпирает бока снутри  
или снаружи, то есть хлеб, щи, гречневая каша  
и дубина. Все остальное не касается его, а  
следовательно, и никаким образом не может  
его трогать; истина математическая. Сам Хри-  
стинька является здесь опрятно одетым и  
успел уже кое-чем обзавестись.

Но что же такое выдумал Христиан Хри-  
стианович и куда и зачем он перебрался? Да  
он, оперившись теперь, вышедши из-под опе-  
ки метлы и голика, торопился выпорхнуть на  
белый свет, порыскать на свободе, пожить на  
свою руку; Христиану казалось, что весь свет  
ожидает с нетерпением, скоро ли выступит  
на поприще жизни Виольдамур? что весь

свет готов встретить его – руки, сердце и двери настезь. Счастливое, независимое положение, к которому Христинька еще не привык, родило тысячу блестящих надежд в голове гения, который, чувствуя несовершенство свое, созерцал в себе, однако же, способности и творческое могущество знаменитейших художников всех времен. Все, что он слышал, видел и чувствовал в родительском доме своем, все, что читал урывками, пробудилось в нем теперь, после тяжелой неволи, с новой силой; уверенность в свою моту и способности, надежды на славу и знаменитость – все это взроилось в голове его и бродило хаосом вместе с недозрелыми мнениями, суждениями и оценкой всех живых и отживших однородных ему художников. У старика Виольдамура собирались, бывало, приятели, судили и рядили о музыке, о Гайдне, Бахе, Моцарте: все это теребилось в голове доморощенного гения и оставило там какой-то мутный, неопределенный осадок; а несколько журналов наших с резкими, решительными суждениями, прочитанных от нечего делать в продолжении жительствова у Ивана Ивановича, сбили

Христиана вовсе с толку и дали ему ту же самую резкость в суждениях, ту же самонадеянность всезнайки, которая тем опаснее и разительнее, чем она поверхностнее.

— Переберусь куда-нибудь в самую глушь столицы, — говорил про себя Христиан, — запрусь на целый год, ни души к себе не пущу и сам ни на кого глядеть не стану: буду жить с одним Аршетом и полным оркестром музыкальных инструментов. Там я, расписав дни и часы, утону в целом море звуков, буду изучать все инструменты, начиная от фортепиано, скрипки и флейты и до тарелок и треугольника; изучу всех великих музыкальных писателей и сочинителей, все школы, изучу основательно генерал-бас, контрапункт, все знаменитые творения итальянских и немецких художников, и выйду из конурки своей и покажусь на свете не прежде, как когда свет что-нибудь обо мне услышит: о, тогда найдут Христиана Христиановича и на Песках, отыщут его и в Малой Болотной и на Калашниковой пристани! В своей земле никто пророком не бывал; пусть услышат обо мне прежде на чужбине.



Под этой чужбиной, как видно, Христинька разумел Рождественскую часть северной столицы нашей, потому что там, в глуши, отыскал он себе вышку в две комнатки, в которых предполагал развить и обработать дар свой, на удивленье целому свету. Впрочем, у него было также какое-то темное намерение поискать со временем счастья за границей и там прославиться. Несколько дней сряду Христиан бегал в Ниренбергские лавки, выбрал инструментов на целый оркестр, истратил много денег и, наконец, отправился в путь.

Ломовой извощик ехал ослиным шагом с Крестовского перевозу до новой квартиры Виольдамура почти целые сутки, и уж поэтому Христинька, провожая добро свое пешком, вправе был полагать, что он перебирается на чужбину.

От Крестовского перевозу до конца Малой Болотной целое путешествие, и Христинька успел во время похода своего на чужбину передумать и перемечтать о многом. От места жительства своего шел он, заложив руки назад, приклонив голову и рассчитывая все затруднения, которые его ожидают. Трудно, ду-

мал он, достигнуть до художественного мастерства, особенно в наше время, где требования довольно велики, трудно изучить и один инструмент – а меня ждут их двадцать, потому что тот только артист велик в моих глазах, который одинаково коротко знаком с целым оркестром. Трудно – это правда; но как же знать, сколько надо мне сил и способностей? – если я чувствую назначение свое, то и должен за него взяться скрепя сердце, с надеждой и уверенностью. Год времени – это много – нет, это мало: в год не много успеешь сделать; учатся и по пяти, шести лет и успевают плохо.- Но это опять-таки зависит от способностей, от охоты и старанья; начало сделано, многие уже удивлялись успехам моим и ныне – а я еще молод.- Аршет, иси! {(отфр. ісі – сюда ко мне! ).} куда занесся.- Но еще труднее сделаться известным, прославиться в своем художестве – если нет ни друзей, ни покровителей. Старые парики, которые сидят и пилят за хлеб насущный день-деньской от семи до одиннадцати, не понимают, не смыслят истинной музыки – они не в состоянии ни постичь, ни оценить самобытное дарование; это

так – но все-таки дело в моих руках; я отдамся на суд общества; толпу надобно изумить; если заахают все, тогда оценят меня поневоле, и зависть умолкнет.- Но ведь и отец мой был камер-музыкантом, и он всю жизнь свою играл в оркестре и был сыт и доволен судьбой – да еще и мне оставил довольно... все так, конечно, да что же из этого следует? Он был уже стар, человек прошлого века, не подвигался вперед; я, напротив, молод и свеж, способностей у меня бездна, я усвою себе все, чем гордится наш век... и... превзойду, может быть, всех современников, шагну еще за полвека вперед. Как знать, чего не знаешь? каждый гений велик по-своему; Гайдн и Бах велики, но они ведь такие же люди, как и я!

Ломовой извощик выехал в это время на петербургскую крепостную площадь. Христинька оглянулся, ободрился, заложил руки в карманы и приподнял голову. На свете простору много, подумал он: умеи только проложить себе дорогу. И деревянная, рыхлая лачужка эта, и золотая игла на крепости – все дело рук человеческих: и то здание, и это здание. И Шпор и Родде скрыпачи, и Иван Ива-

нович мой говорит, что играл когда-то на скрипке, да забыл. Шести часов сна довольно; два часа отдыха, на обед, на чай – остается шестнадцать рабочих часов в сутки; по два часа на инструмент – восемь инструментов в день перебивает в руках – набьешь пальцы поневоле: это даст игре моей беглость, верность, твердость; а жизнь этому всему дает душа – и она-то и есть во мне, – это я чувствую, знаю! Аршет! назад! Чего заглядываешь в подворотни!

Ломовой своротил на Троицкий мост, и доски дрожали под ногами Христиана. Как человек, однако ж, легкомыслен, подумал он; почти во всякую минуту мы на два пальца от гибели – и продолжаем спокойно путь свой, ничего не замечая. Вот, проломись одна только доска, – и... Аршет! назад!.. и Виольдамур не угрожает никому более соперничеством – разве природа, в которую должны возвратиться все способности и дарования, вся душа человека, когда труп его предается тлению – разве природа соберет опять снова дары эти и сосредоточит их в новом существе? А почему ж не так? Может быть, и во мне скрывается те-

перь духовная часть Гайдна, Баха, Моцарта? Посмотрим... Аршет, иси! чего в воду глядишь? Свалишься, дурак, так потонешь... Выборгскую сторону я не люблю, сказал Христиан, взглянув налево через Неву, на огромные желтые строения: она вся застроена госпиталями.

Выехали на середину моста: широкая, раздольная Нева, великолепный противоположный берег, уставленный огромными каменными зданиями, и общая жизнь, движение пробудили мечтателя; он забыл, куда и зачем идет, забыл, что пошел в конвой за чемоданом своим, немым, до времени, оркестром, и стал летать мыслями по поднебесью. То ему казалось тесно в Питере, то широко и свободно, и простору на все четыре стороны вволю. Прогулка эта, однако ж, заставила желудок Христиана Христиановича доложить о себе; купив на мосту свежую сайку, он поделился братски с Аршетом и, оглядываясь кругом, продолжал, закусывая сайкой, мечтать. Заговорят и в этих каменных зданиях, подумал он – и, может быть, далее, туда, по Дворцовой, по Английской набережной: заговорят, может

быть, со временем о русском художнике, который родился и вырос в Питере, а прославился в Вене, Париже, Лондоне. В Питере о нем никто ничего не знал и не слышал: вышел он из потемков, да вышел на свет. Тогда станут припоминать, что был-де когда-то камер-музыкант Виольдамур, так уж не сын ли это его? да, сын; и сын прославит и себя и отца, и отечество свое – и два государства будут спорить о том, чей этот Виольдамур? Отец его родом из Страсбурга, где дед и прадед были известными музыкантами, а Христиан Виольдамур родился и вырос в России – в самом деле, это вопрос сомнительный; кто же буду я тогда, русский или иной какой... нет, русский; пусть страсбургцы гневаются, а я напечатаю тогда во всех газетах, что я русский.

Выехали на Царицын луг, и Аршет пустился кружить во весь дух. Широко, просторно, думал Христиан: даже страшно. Умаешься еще, Аршет, дорога не близкая. Жил я в одиночестве, в захолустье – стою теперь среди столицы – а все как-то одинок, все вокруг меня чужие. Судьба, судьба! надо выбиться из этих бурных волн – и много, много борьбы

предстоит нашему брату. Аршет! не тронь чужой собаки!

Между тем проехали Конюшенный мост, повертели направо и выехали на Невский проспект, к Ниренбергским лавкам. Здесь все уже было приготовлено; укладка и установка оркестра на дроги заняла Христиана и рассеяла все сомнения, недоумения и мечты его. Он пустился далее по Невскому, зашел к фортепианному мастеру у Знаменья, откуда четверо рабочих понесли за ним подержанный инструмент; весь поезд или шествие это дошло до Лиговки, потом мимо фуражного двора и наконец в Большую Болотную. Тут поворот налево, в искривленную, дугою согнутую, Малую Болотную, едва ли не единственную в целом Питере змейкой перегнутую улицу. Христинынке вдруг что-то под сердце, когда он увидел свою вышку, цель долгого путешествия. Смесь радости и страху овладела им, какая-то недоверчивость к себе самому, род какого-то безотчетного отчаяния, но все это промелькнуло только молнией и сказалось легкою дрожью по всему телу, беспокойством в груди и маленькою слабостию в локтях и коленях,

как будто развязались суставы. Извощик остановился у подъезда, и Христиньке некогда было следить за новым полетом или упадком духа и заносчивого воображения своего, а надо было хлопотать, бегать вверх и вниз по деревянной лесенке, таскать осторожно рояль, басы, стул, скрипки, стол, трубы, кушетку и распорядиться в комнатке, что куда класть и ставить.

Новая обитель гениального художника перед вами. Вы видите, что я вас не обманул: басы, скрипки, гитары, барабаны, один стол, один стул, кушетка, нотный наложник: ноты на столе, ноты на полу, ноты на стене. Сам Виольдамур, среди разгару сует и забот, для приведения всего этого в стройный порядок, ухватил валторну и кларнет, чтобы приискать им приличное место; но в то же время попался ему в руки еще и третий духовой инструмент: любимая фарфоровая трубка его, и он подумал: постой, отдохнем, выкурим трубку табаку; кларнет под мышку, валторну кольцом на руку, остановился среди комнаты и в самом походном положении раскуривает свою трубку. Аршет стоит перед своим



баринoм вопросительным знаком. О чем спрашивает он? для чего глядит с видом како-го-то сомнения на своего господина, как будто хочет сказать: "Прикажите только, сударь, что угодно: все сделаю, на что меня станет; да благонадежны ли все затеи ваши и чем они кончатся?" – Молчи, Аршет; не твое дело. В качестве слугителя низкого разряду, ты рассуждать не должен; а в качестве друга, не приходится тебе говорить уже и потому, что ты принят на вакансию друга бессловесного. Нерешимость и какой-то детский страх нашего Христиана исчезали по мере того, как он устраивался в двух комнатах своих и чувствовал себя полным и независимым хозяином. Отпуская извозчика, ему казалось, однако, что он разрывает последнюю связь с людьми и предоставлен отныне себе, зависит от себя и сам должен заботиться о своей участи. Чувство это его не обмануло.

Хозяйка дома, вдова купца, торговавшего на Калашниковой пристани хлебом, явилась незваная, непрошенная с вежливым вопросом: не потребуется ли чего? Но истинная цель этого посещения состояла в том, чтобы убе-

даться, не испортил ли новый постоялец стен гвоздями, потому что в целом деревянном домишке раздавались удары молотка, когда Христиан развешивал многосложный оркестр свой по стенам. Увидав, что дело было кончено, она потужила, сделала уговор, чтобы вперед не колотить более гвоздей, но и не выдергивать тех, которые уже были вбиты, выговорив их счетом в свою пользу. Кончив сделку эту и выпроводив разговорчивую хозяйку, Христиан взял было в руки смычок и скрыпку – но тут опять явилось новое лицо, дворник. Ему нужно было оглянуться в комнатах и допросить во всей подробности нового постояльца о привычках и роде жизни его: когда он ложится спать, в котором часу уходит со двора, в котором приходит домой и прочее. В Малой Болотной, изволите видеть, на все обычай и правило; это род какого-то уезда, далеко в стороне столицы. Виольдамур не был расположен сердиться и успокоил дворника уверением, что будет сидеть дома круглые сутки. Дворник выпросил себе, однако ж, на всякий случай, гривенник за труды и беспокойство, предупредив нового постояль-

ца мимоходом, что предшественник его, какой-то чиновник, путешествовавший ежедневно пешком к Чернышеву мосту, давал ему, дворнику, к каждым праздникам синенькую. Оно, если хотите, и не совсем вероятно, да тут дело шло только об искусном намеке. Виольдамур раскланялся с дворником, стал настраивать скрипку – а в дверь глядит борода другого покрову, поваженная сюда, как видно, прежним постояльцем, и потчует чаем и баранками. Христинька готов был рассердиться, но, узнав в чем дело, обрадовался сбитню, велел налить себе большую чашку на две гривны, взял вязанку баранок и принялся за кларнет: охоту к скрипке у него уже отбили. Тут является еще новое лицо, бабища, с засученными выше локтя рукавами, с заткнутым за пояс подолом юбки; хозяйка прислала спросить который час. Это вывело Христиньку из терпения; во-первых, кроткая Тио поселила в нем какую-то безотчетную ненависть ко всем бабам на свете; во-вторых, ему весь день не давали покою, за которым он, собственно, и ушел с Крестовского перевозу на Болотную. Ответив коротко, он хотел было за-

переть дверь за незваную гостью, но увидел, что дверь эта запирается только снаружи всяким замком, а изнутри не было никаких на это приспособов. Недолго думав, он взял пару гвоздей, которыми запасся для подвешивания инструментов своих, и стал вколачивать один в дверь, другой в косяк, чтобы приделать веревочную завязку. Не успел он еще кончить самодельного замка этого, как хозяйка дома,- услышав зловеший стук, опять поднялась по лестнице и явилась с сильными возражениями против такого нарушения мирного договору. Завязался довольно жаркий спор; с одной стороны объявлялось настойчивое требование, чтобы к двери приделан был внутренней замок или допущено двум гвоздям и веревочке исправлять должность его; с другой – на требования эти не подавались, а настаивали, чтобы дверь оставалась без замка и без веревочки или чтобы замок был куплен и врезан за счет постояльца. На крик хозяйки дворник и стряпуха явились на помощь и, как искусные посредники, заключили между ссорившимися новое перемирие на таком основании, чтобы вбитый в дверь

Гвоздик оставить в этом положении на вечные времена, с исправлением должности ручки, причислив его к недвижимой собственности хозяйки; если же понадобится запира́ть двери снутри, то подпира́ть их березовым поленом. Дворник устроил все это к обоюдному удовольствию хозяйки и постояльца и счел после этого долгом заявить требование на гривенку, для покупки дратвы; из чего неопытный Христиан Христианович и заключил весьма ошибочно, что дворник чеботарит; гривна эта просто пошла в казенный питейный дом, и дворник строчил, точал и прошивал этой казенной дратвой собственный свой нутровой товар.

Усталый Христиан бросился на кушетку и уснул. Встав на другое утро, он позабыл отчасти все вечерние неприятности и сел весело для обработки голоса за фортепиано. Для большей свободы и простору он сбросил верхнее платье и сидит перед вами в положении такого человека, которого все умственные и телесные силы сосредоточились в одной глотке. Ноги протянуты, туловище далеко пода-лось назад, голова закинута, словом, певец

почти лег навзничь, прищурился и кричит изо всей силы, подымаясь все выше и выше. Судя по этому положению, он поднялся высоко и едва ли не до головного голоса. Если бы он спустился голосом пониже, подался бы может быть всем телом вперед, приклонил голову и нажимал бы на грудь подбородок. Если вы любитель или знаток музыки, в чем не смеем сомневаться, то вам, конечно, известно, что такое называется *вырабатывать* голос; это значит кричать во все горло до, ре, ми, фа, соль, ля, си, переливаясь во все лады и удерживая протяжно каждый звук столько времени, на сколько хватит сил и духу. Вот что делает теперь Христинька и вот что делает бессменный товарищ и сподвижник его Аршет; он служит, желая этим угодить барину и склонить его на взаимную услугу: Аршет умоляет барина своего не выть таким страшным голосом, будто с него с живого лыки дерут; а когда служба или служение это не обратило на себя внимание занятого своим делом барина, то Аршет не нашел другого способа облегчить сколько-нибудь обидчивый слух свой, как затянуть, по собачьему обычаю, та-

кую же плачевную песню. Так трубочники уверяют, что в комнате, где усердные курильщики пускают дым в пять, шесть чубуков, нельзя усидеть не задохнувшись, если не закурить своей трубки.

Между тем на Малой Болотной улице произошла тревога. Новый жилец ее занял вышку, сколоченную из барочного лесу, обшитую снаружи тесом и обклеенную снутри зелеными шпалерами; каждое слово его было слышно не только в целом доме, но и на улице, особенно летом, при одинаких рамах. В Болотной не случалось как-то доселе жильца, который бы жил так громко; прохожие и соседи останавливались на улице и глядели с состраданием в полукруглое окно вышки, осведомляясь, кто и кого сечет или колотит. "Должно быть,- заметил мещанин в сибирке,- какой-нибудь хозяин хозяйку свою учит".

-- Какой хозяин,- возразил другой,- тут вдова живет, а там у нее сам по себе один постоялец.

-- Нет, отцы мои,- отозвалась работница приходской просфирни, - это, воля ваша, кто-нибудь по покойнике голосит.

— Какой покойник тут, коли тебе говорят, один-одним постоялец стоит, так из себя, черноватый и молодой парень.

— Что вы это, господа,- сказала баба, которая вышла из ворот насупротив, с засученными рукавами рубашки и с руками по локоть в тесте, потому что она покинула квашню, — что вы это, будто не слышите, ведь в два голоса плачут, коли не в три, а вы говорите один по себе постоялец: слышь, вот,- ровно сестра с братом: один большинькой, один меньшинькой; да ведь как жалобно заливаются! Господи, боже мой, помилуй нас, грешных!

— Что за притча,- сказал солдат, остановившись в полоборота против кучки, — чего тут народ сбился? Эт-то ровно волки, что ли, какие воют, а люди, видно, слушают...

Между тем Христиан Христианович, взглянув из-за фортепиан в окно, не без удовольствия заметил собравшуюся под окном публику и старался по силам своим ее утешить.

Надобно заметить, что хозяйки не случилось в эту пору дома; поэтому никто музыканта нашего не тревожил; но народу православного собралась толпа непроезжаемая и запрю-



дила всю улицу. Первые три, четыре человека остановились, чтобы прислушаться; к ним пристали другие, больше и больше, и наконец народ сбегался, глядя издали на толпу, со всех концов, каждый пялился, тянулся, пробивался, и многие спрашивали: пожар ли, или вора поймали, или сам частный какое-нибудь учиняет разбирательство.

Христинька между тем окончил преспокойно урок свой и, поглядывая украдкой на слушателей, принялся за скрипку. Лишь только вой замолк и раздался всем знакомый звук веселой скрипки, как в толпе со всех сторон раздался хохот; каждый поумнел на полголовы и, указывая на прочих, говорил: "Эки дураки, какого дива не видали, человек на скрипке играет, а они толкуются, ровно на пожар!" Шумная толпа зашевелилась, начала расходиться, все толковали об этом случае, а новые прохожие, не зная в чем дело, останавливались и допытывались, какая тут была сходка. В это самое время хозяйка возвращалась домой, испугалась толпы перед домом своим, полагая, что у нее пожар, и колени у нее начисто подкосились. Христинька стоял

перед нотами своими, закинув ножку за ножку, и выводил чистенько смычком двойные нотки, улыбаясь от удовольствия; ему казалось, что он играет весьма порядочно, а бедная хозяйка его лежала между тем на углу Большой и Малой Болотной, припав на колени, перебирала поочередно всех святых и причитывала: "Ох, бедная ты, моя головушка! хоть с плеч снять да в землю положить!"

Наконец дело объяснилось, хотя и не без труда, потому что перепуганная насмерть хозяйка и в своем уме не могла похвалиться большою понятливостью, а теперь ей и по-прежнему тяжело было разобрать этот запутанный случай. Дело женское; не трудно расплакаться, а уняться трудно. Ей что ни говори, она слушает, будто слушает; а там опять и зальется и пойдет причитывать да приговаривать. Наконец хозяйка перекрестилась, поднялась на ноги и отправилась прямым трактом к постояльцу своему, пересказать ему, как он ее напугал, спросить, не потребуется ли чего, и допросить, для чего он наделал такого страшного крику, не обижал ли кто его, и прочее. Собрав по пути все нужные сведе-

ния от словоохотливых зрителей и слушателей, от соседей, от дворника и стряпухи, хозяйка, прихватив правою рукою платье спереди, чтобы на него не наступить, и хватаясь левою за крутые перила, пошла отсчитывать деревянные ступени, и под ногами ее раздавался глухой звук, подобный тому, коли кто слышал, как когда верблюд пройдет по мосту. Христиан Христианович сидел уже в это время за виолончелью, спустившись низехонько на аппликатуру; струна иногда при свистывала, смычок срывался, пальцы переплетались, не слушались хозяина, особенно тяжелую службу нес большой палец, лежа поперек струн; он уже дрожал и повертывался, выбившись из сил; Виольдамур был не совсем доволен; аппликатура его затрудняла, он хотел добиться чистоты и упорно повторял, сто раз сряду, одну и ту же переборку. Громкое арпеджио увлекало все внимание его: стук, стук в двери – Христиан не слышит. Тук, тук, тук!- не слышит ничего, и один только Аршет приподнял немного уши и обратил внимание на дверь. Хозяйка, полагая, что она в собственном доме своем вольна распоря-

жаться и надеясь на силу и дородство свое, налегла немного, и березовое полено выско- чило; оно полетело в середину комнаты и за- ставило углубившегося в аппликатуру арти- ста опомниться и оглянуться.

— Не прикажете ли чего, батюшка? Я хо- дила вот, признаться, на Конную, так зашла к вам понаведаться...

— Помилуйте, хозяйка, ведь у вас житья нет; вы постояльцам покою не даете: как же можно этак в двери ломаться! Это уж ни на что не похоже: воля ваша!

— Батюшка, честь ваша перед вами, это что и говорить, а только что извините без- обидному слову: всяк в своем добре волен; я и сама не хотела было беспокоиться, батюшка, да вы насмерть меня напугали, а то я бы и не изволила вас потревожить.

— Чем я вас напугал?

— Да богу известно, как это случилось, ба- тюшка, что там у вас было такое, а громко больно, говорят, про меж собою забавляться изволили, инно народ под окнами сбежался, а у меня ноги-то и подкосись; ведь опричь до- мишка покойник ничего мне не оставил, по-

читай; ну, сохрани бог, беда какая...

— Отвяжитесь вы от меня, пожалуйста, хозяйка; и я в своем добре волен: и в голосе своем, и в скрыпке, и словом во всем, и в квартире своей, потому что я плачу за нее деньги по уговору и за месяц уплатил вперед.

— Для безопасности только, батюшка, для безопасности; ведь всякие на свете люди есть, а в хозяйском добре без хозяйского глазу проку не живет; сами изволите знать. Ведь не одни вы на свете постояльцы есть и сказывали, что одни жить будете, спокойно, а вот с собакою вдвоем перебраться изволили, да и голосок-от больно беспокойный, сказывают, да вот и собаку свою как громко обучать изволите, и скрыпок-то много больно навезли с собою: и что вам в них, батюшка, только что одно беспокойство; и стену всю гвоздями исколотили, так я и зашла только понаведаться, из чести, не потребуется ли чего-нибудь?

— Ничего мне больше не требуется, как чтобы вы с богом убирались отсюда и оставили меня в покое, только.

— Не извольте бесчестно беседовать, батюшка, не за что; муж мой, конечно, простой

человек был, покойник, да ведь перед богом все мы дворяне, батюшка, али, бишь, все мы люди простые; только что вот, изволите видеть, у меня был здесь в третьем году постоялец, тоже человек холостой, а в те поры и дочка была у меня: пристроила ее, благодаря бога, и хорошихонько-таки замуж отдала – а пол-от у нас без наката послан был, уж после того, для осторожности, польский потолок подшила: пол одинакий, изволите видеть, да из барочного лесу; известное дело, покойник хлебом торговал, ну и барки свои приходили: так он, постоялец-от, всё в щелочки полу и посматривал, что у нас деется.

Может быть, иному покажется, что хозяйка приплела анекдот о дочери своей ни к селу ни к городу; но, право, это случилось очень кстати и послужило самым лучшим громовым отводом для загоравшегося гневу Христиана Христиановича. Отношения между хозяйкой и постояльцем, как вы изволите видеть, начинали путаться; придирчивая хозяйка сама не знала, чего она хотела, а у постояльца терпение истоцилось окончательно. Последняя выходка ее, однако же, рассмеши-

ла Христиньку, а затем придала и ей самой более веселое расположение, и посещение это кончилось миролюбиво.

Но когда виртуоз наш остался опять один и взглянул, вслед за раскланявшеюся хозяйкой, на эту свободную для всякого посетителя дверь, на лежащее среди комнаты полено, то сердце в нем опять закипело и он начал придумывать, как бы оградить владения свои от подобных нашествий. Гвоздь в дверях, с готовой на нем завязкой, едва не соблазнил его вколотить другой гвоздь в косяк – и замок был бы готов; но Христинька предчувствовал, что вслед за первым ударом молотка рассудительная хозяйка явится в дверях; да притом и гвоздь с завязкой против мясистых плеч ее не устоит: это Христиан испытал уже на деле. Решившись наконец приделать на другой же день на свой счет замок к дверям, Христиан успокоился, поставил среди комнаты наложник, раскрыл на нем одну из фуг Себастиана Баха и принялся разыгрывать ее на контрабасе. Как будто нехотя великан начал издавать сонные, низкие звуки свои, ворчал и ревел медвежьим голосом, но, повинусь Себастиану

Баху и Христиану Виольдамуру, выпускал поневоле звуки эти в разумной последовательности, заставляя связывать их умом и чувством и увлекаться бессознательно смыслом, который выражался этим сочетанием звуков. Вот почему контрабасист наш, воспламеняясь все более и более, возвышался постепенно мыслию и чувством над плотским и житейским и, дав полную волю страстям и воображению, предавшись вполне впечатлению творческой фуги, забылся, оглушил сам себя всепотрясающими, величественными звуками контрабаса и царствовал в ту минуту один в подсолнечной, не признавая живого, мыслящего и чувствующего существа, кроме себя самого и Себастиана Баха. Вот он, герой наш, воспламененный самобытностью бессмертного творения; вот как он царствует смычком своим среди окружающих его обаятельных могучих звуков! Он в таком же исступлении, как сибирский шаман, оглушивший себя криком и стуком в бубны; он неистово пожирает огромными глазами заветные полновесные точки на бумаге: туда устремлены все чувства и вся душа его - *весь человек*, как выражаются



нынешние русские писатели наши,- а что делают в это время руки – того Христиан Христианович не знает: они, так сказать, отрешены от духа и действуют как мертвое маховое колесо, по данному им однажды направлению. Они перепилили уже струну, которая с треском лопнула и взвилась змейкой кверху и книзу, между тем как сам художник продолжает пилить по двум остальным струнам, воображая, вероятно, будто все еще внемлет тем звукам, которые видит перед собою на бумаге. Такое торжество духа над плотью, как справедливо уверяют мудрецы наши, не может быть продолжительно; неразрывная связь земли с землею ненарушима, вериги плоти неумолимы, и после восхитительного сна следует горькое пробуждение и головная боль, как с похмелья. Чем выше залетишь, тем ниже придется упасть. Аршет, как представитель животной жизни, первый опомнился, вышел из терпения и докладывает барину, что пора ему перестать бесноваться; Аршету надоел этот дикий, исступленный вид барина, к которому верный слуга не привык, а глухой рев контрабаса его смущает. За Ар-

шетом вскоре последовал другой представитель животной жизни: верблюд наш, или пшенная толчая, хозяйка. Долго она сидела внизу, разводя и складывая поочередно руки и обращая оловянные глаза в потолок; вся избушка, выстроенная из барочного лесу, дрожала от страшной музыки неугомонного постояльца; посоветовавшись с дворником и со стряпухой, — какая бы это была такая флейта или скрыпка, что медведем ревет и от нее весь дом дрожит? — хозяйка поднялась наконец с места и отправилась на вышку узнать, не потребуется ли чего-нибудь постояльцу.

Таким образом Христинька опять уже принужден был вступить в докучливый разговор, отстаивать права постояльцев вообще и свои в особенности; но как он на этот раз немного разгорячился, а хозяйка с своей стороны также ни в чем не хотела уступить, то беседа и была *гораздо* шумная. Дворник и стряпуха явились в дверях на подмогу и привели контрабасиста в отчаянное положение; хозяйка требовала, чтобы он, как слишком неугомонный гость, оставил честь и место и искал бы себе другой квартиры; он же, отдав деньги за

месяц вперед, объявил положительно, что выживет по крайней мере месяц свой и ни в каком случае не выберется прежде срока. Хозяйка уставила руки в боки, глаза в потолок и принялась кричать; а Христиан, не будучи в состоянии перекричать устным голосом противников своих, прибегнул к помощи своего искусства; вооружившись терпением и турецким барабаном, Виольдамур пошел тузить по нем, не обращая никакого внимания на надседавшуюся хозяйку и двух ее адъютантов.

Сколько ни стояла хозяйка с конвоем своим, сколько ни кричала, а надобно было наконец уйти и замолчать – последнее хоть по крайней мере на столько времени, чтобы перевести дух и отдохнуть. Крайне встревоженная, спустилась она с лестницы, присела было немного, но ей показалось в комнате что-то душно; она растворила окна на улицу и становилась поочередно то перед одно, то перед другое окно и кричала вслух, заставляя всех прохожих оглядываться, что пойдет жаловаться к надзирателю, что она хозяйка в доме, что ей нет указчика и что она хоть и *сирота* бесприютная, найдет защиту от такого бу-

яна и выживет его, уверяя притом, что для этого ничего не пожалеет. Таким образом прошел день.

Наутро, проснувшись и напившись ранехонько чаю, Виольдамур хотел было идти за замком и плотником, но раздумал; это поспеет, сказал он, и не стоит того, чтобы тратить золотое время – и принялся за выработку голоса, за скрипки, басы, валторны и фаготы. Долго терпела бедная хозяйка и ходила по комнате, всплескивая руками и повторяя: "Ну, что я буду делать! что я стану делать: ума не приложу!" Наконец, однако же, когда Христинька, вспламеняясь более и более, принялся опять за контрабас, за тромбон и два других постояльца пришли объявить хозяйке, что сегодня же съедут с квартиры, если она не утомнит этого соседа, то она решилась опять подняться на вышку, собрав весь наличный конвой свой, дворника, стряпуху, и пригласив еще одного из недовольных постояльцев. Христиан Христианович принял их как беснующийся: он потешался, гоня незваных гостей своих по комнате и выпроваживая их поочередно турецким барабаном.

Подымая это оружие мести к самым ушам хозяйки, соседа и стряпухи и напевая галлопад, он колотил изо всей силы, заглушал все вопли и крики посетителей и заставил их поспешно отступить. Выпроводив их до самой лестницы, он притворил за ними двери и принялся, для перемены, за раздвижную трубу.

За исключением особенных любителей тромбона, которые утешаются и звуками и даже движениями этого инструмента, он не всякому нравится, тем более в одиночку и в комнате. Все ближайšie к дому вдовы нашей жители Малой Болотной улицы держались последнего мнения, не говоря уже о несчастных жильцах того же дому, и все напали на хозяйку с просьбами и упреками за беспокойного постояльца. Она решилась принять действительные меры; отправилась собственно особою своею к квартальному надзирателю и, не застав его дома, начала жалобу свою писарю его тем, что положила четвертак на стол. В комнате писаря – который служил без жалованья, *из чести*, - кроме делового стола и бумаг, стояла кровать, диванчик, четыре стула,

на окне та же посуда, как у Ивана Ивановича, а на стене висела гитара и скрипка. Взглянув нечаянно на музыкальную утварь эту, хозяйка наша опешила было совсем, опасаясь, не попала ли она из огня да в полымя: не пришла ли с жалобой на музыку к такому же страстному музыканту, каков постоялец ее; но писарь был, при известных читателю обстоятельствах, вежливый молодой человек; он попросил присесть старушку на плетеный стул и расспрашивал ее обо всем с таким участием, что она забыла о напавшей на нее робости и с жаром изложила дело. Писарь вошел во все подробности, во всю подноготную, и предложил ей разные пути для достижения цели.- "Можно,- сказал он важно, - можно просьбу подать и прописать всю обиду вашу, с исчислением азартных грубостей и с учинением намеренности к побоям; да только на гербовую бумагу потратиться вам придется".- "Да, где же мне, батюшка,- возразила хозяйка,- тут убыток убытком, а кроме того ведь с гербовой-то у вас дело пойдет затейливое, а я, сирота, помру, до решенья не доживу!" - "Все единственно,- перебил писарь,- на двухрубле-

вую полтинничек с гривенником оставить извольте, будет все сделано, будьте благодарны, и потрудиться не изволите, все до единой хлопоты наши будут".- "Благодарим, батюшка, от вдовьего сиротства своего, да только все это думчиво как-то; кабы надзиратель так, просто, пожаловал, да порешил бы нас решеньем своим, так бы и делу конец".- "Оно, конечно, с откровенностью доложить, - подхватил писарь, - у Ивана Яковлевича все возможно, только что обременительно; да для вас и ради притеснительства и беспорядков, для доброго человека сбыточно, очень возможно; а для порядку вот у нас в книгу вносится по форме и соблюдается, и бывает взыскивается с нас строго от начальства, поэтому и следует нам хоть так, для примеру, приложить оную просьбу и на гербовой; а до вас беспокойства не допустим: сами напишем и руку где следует по закону приложим; вашего беспокойства только и будет что на двухрублевую гербовую оставить".- Хозяйка согласилась наконец и обещала принести на гербовую, да просила только покончить сперва дело и выслать неугомонного постояльца;

но писарь находил это невозможным; говорил, что оно бы, конечно, и можно, очень можно, да никак нельзя-с; уверял, что с гербовой всякое дело начинается, что и закон повелевает взыскивать за всякое делопроизводство, коли оно на простой, цену гербовой и прочее. Хозяйке нечего делать; достала она целковый и хотела взять сдачи свой четвертак; но монетку эту давно уже подобрал со стола, самым незаметным образом, тот, кто заботился о нем не менее самой хозяйки. Свели кое-как счета, и она отправилась домой, взяв с собою одно только удостоверение, что не допустят ее ни до убытков, ни до беспокойства.

Но, подходя к углу Малой Болотной, хозяйка наша уже всплеснула руками от ужасу, такой содом послышала в наследственном гнезде своем, в сухопутной барке. Христиан Христианович, которому между тем надоели и жильцы и дворник и стряпуха требованием от имени хозяйки, чтобы он оставил музыку свою, Христиан, назло всем, не покидал раздвижной трубы и работал на ней уже несколько часов сряду. Хозяйка в ту же мину-



ту воротилась к надзирателю и, застав его, к счастью, на этот раз дома, улестила и упростила его подать немедленную помощь.

— Вот, батюшка, Иван Яковлевич,- говорила она, вводя надзирателя в вышку свою, к постояльцу:- вот, как изволите видеть, так вот с утра до ночи, все одно; ни жить, ни умереть не дает никому, и сам не ест и не пьет, а все только трубит, да стучит в барабан, да вот в эту проклятую большую скрыпку играет: рёвма ревёт, мой батюшка, что твой медведь!

Надзиратель взмахнул шляпой от ужасу и удивления и раскинул руки; волос стал дыбом у него, и бакенбарды оцетинились.- "Как изба не распадется,- сказал он,- сущее землетрясение, Содом и Гоморра!"

Писарь, который охотно взялся в дело это, считал обязанностью проводить надзирателя и показать всевозможное участие в настоящем деле: поэтому он и счел приличным, подходя к дверям музыканта, наморщить лоб, наклонить голову и накрыть ладонями уши.

Аршет докладывает, как видите, барину своему о посетителях, а барин ничего не видит и не слышит и не хочет видеть и слы-

шать ничего, а трубит, с ужасающим треском, как паровая труба на нынешних паровозах. Оборотившись с тромбоном своим внезапно и продолжая играть, Виольдамур разодвинул его в эту минуту во всю длину и покрыл грудь писаря широким раструбом, как бляхой, и ретивым ударом осадил, и чуть не сбил его с ног, подав на целый аршин назад.

Этот несчастный случай, более всех просьб и жалоб хозяйки, убедил надзирателя в необходимости настоять на том, чтобы неосторожный трубач очистил квартиру; Христиан сам испугался своего промаха, который заставил его смириться и дать немедленно подписку, что он через двадцать четыре часа выберется и в продолжении того времени будет вести себя благоприлично, не употребляя неблагопристойных музыкальных инструментов. Под последними разумел квартальный, как пояснил он на словах, контрабас, барабан, а в особенности раздвижную трубу. Кончив дело, квартальный надел перчатки, хотел перед зеркалом поправить прическу и осмотреть, в порядке ли крючки на воротнике, но оглянувшись кругом, не нашел зерка-

ла; а потому ощупал крючки руками, обтянул кругом мундир, взял со стола подписку, взглянул грозно на нарушителя спокойствия и, прокашлявшись, широкими и громкими шагами вышел из комнаты. Писарь толкнул хозяйку, чтобы она шла проводить Ивана Яковлевича, а сам начал стряхивать перо и придвигать чернилицу,- хотя ему, казалось, ни до того, ни до другого не было никакого дела – косился вслед за начальством своим, а когда оно скрылось окончательно, то писарь вдруг принял осторожное, таинственное положение и обратился к жильцу: "А который, то есть, вам год; позвольте узнать лета ваши, равно и приметы".- "Что вы погонную писать хотите? я не уйду никуда".- "Следует необходимо, по требованию начальства, за предписания взыскивается и соблюдается; а я к тому только говорю, что может статья притеснительно для вас перебраться с квартиры, так если бы, например, в рассуждении несовершеннолетия вашего вернуть оговорочку; оно бы можно еще и растянуть".

"Так вы думаете, что можно и не выбираться еще?" – спросил он писаря. "Оно, изво-

лите видеть: опасливо,- отвечал тот вполголо-са, – и без поддержки будет сомнительно; а если бы, вот, то есть, угодно было, не говоря худого слова, благоприобрести кого-нибудь в свою пользу, то есть, хоть и не то, чтобы из начальственных лиц, а так, не из больших кого-нибудь,- и сам поклонился,- так отстояли б вас; нашего брата удовольствовать можно из небольшого: оно для вас будет как-то пообходительнее, а выходит все единственно".

Христинька достал из кармана полтинник и, показывая его на ладони писарю, сказал: "Да ведь это дело такое, что оно большего не стоит".- Собеседник его не дал договорить, подставил услужливо руку и, сказав: "Будьте благонадежны", отправился. Он сходил с лесенки не с таким стуком и шумом, как сам надзиратель, а потихонечку и придерживаясь рукою за перила; спустившись же вниз, наведаясь к хозяйке, потолковать еще об этом деле, напросился на чашку чая, расспросил, кого из других жильцов музыкант более всего беспокоит: зашел и к нему, изложив начало, ход, справки, узаконения и заключение свое по настоящему случаю; обещал покровитель-

ство свое, получил благодарность и тогда уже отправился домой.

Посещение это удовольствовало всех: и хозяйку, и соседей, и писаря, и под конец даже самого Христиана, который действительно недоумевал, куда ему деваться в одни сутки, а кроме того не хотел сходить уже по одному упрямству. Но всякое земное благополучие непостоянно, и не более как через сутки возникли снова почти всеобщие неудовольствия. Хозяйка, заметив, что жилец ее не думает выбираться, подняла опять прежний крик и жалобы; соседи и жильцы ее также были озабочены, потому что музыка, хотя и не столь оглушительная, не умолкала; Виольдамура продолжали беспокоить и делать ему разные прижимки и неприятности, а наконец и самый писарь, забыв о том, что приобрел он вчера, желал повторить сегодня прием и продлить по возможности дело, полагая, что всякому дню подобает забота своя и что в хлебе насущном нельзя не нуждаться ежедневно. Если рассудить еще, что хозяйка, получив деньги по найму вышки своей за месяц вперед, рассчитывала оставить их за собою, в

виде вознаграждения за убытки и беспокойство; что Виольдамур, напротив, считал деньги эти своею собственностью, а писарь надеялся решить недоумение это, приняв спорную сумму под сохранение свое; если вспомним, что хозяйка полагала избавиться от беспокойного жильца в течении суток, а жильцу, обнадеженному писарем, казалось, что дело еще терпит; если рассудим все это, то немудрено, конечно, что дело через две недели подвинулось только тем разве вперед, что позапуталось со всех сторон старыми и новыми взаимными расчетами и начетами. Но как всему на свете должен быть какой-нибудь конец, то и эта ссора, надоев всем соучастникам донельзя, порешилась по добросердечному совету писаря – мировою. Писарь сказал наедине и той и другой стороне: "Охота вам, господа, вдаваться в такое отчаянное сложение без реваншу",- и это их убедило. Виольдамур приискал себе комнату в каменном доме, на Песках,- он, узнав по несчастному опыту, что истинному художнику и музыканту в деревянном домишке не житье, отправился туда со всем скарбом своим и утварью.

Рассчитавшись хорошенько, обе стороны увидели, что при этом деле остались в барышах, конечно, не они.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Угодно вам взглянуть на поезд, обоз или караван Христиана Христиановича, который тянется из Малой Болотной на Пески? Ломового извозчика вблизи не случилось, и художник изворотился легковым, то есть дрожечками. Не знаем, каким путем выпроводил он фортепиано и три стула, стол и кушетку свою, но все остальное перед вами, и все уложилось на обыкновенные рессорные дрожки, включая в кладь эту и самого хозяина и выключив одного только Аршета, гитару и контрабас. Гитара, сама по себе, вероятно, не дошла бы до новой квартиры; но с помощью Аршета, на которого навьючили ее, она придет туда несомненно, хотя Аршету очень совестно заниматься, с непривычки, извозным промыслом и он опустил хвост, понурил голову, крадется, как кошка, за дрожками, ступая стыдливо и бережно по мостовой. Контрабас приютился на хребте пешего извозчика, который подставил спину свою с большою самонадеянно-



стью под незнакомого ему доселе великанища, сказав: "Вали, не бойсь, барин, мы таскивали бывало и не такие тюки, как на бирже в крючниках живали; иной, я чай, не этому деревянному чета будет",- а потом изумился, когда, тряхнув плечами, не слышал ожидаемой тяжести на плечах. Заметьте, однако ж, что музыкальные снаряды решительно вытесняют бедного Виольдамура с дрожек; непонятно, как он мог еще приютиться. Глядя на все затеи эти, мы не без причины опасаемся, чтобы они не сжили когда-нибудь Христиана со свету, как теперь выживают с дрожек. Ноты занимают место кучера, так сказать, управляют путями жизни Христиана Христиановича; за ними следуют громозвучные барабаны, как иносказательное изображение тех громких, славных и блестящих надежд, которые заигрывали с Христинькой на избранном им пути. Прочие инструменты окружают и наполняют собою, в виде недовесков, представителей будущей славы героя нашего,- а слава эта, основанная на барабанах, невольно срывает у нас улыбку сомнения и сострадания. Все жильцы сколоченного из ба-

рочного лесу дома вышли за ворота, чтобы проводить потешный поезд; по веселому расположению их заметно, что они довольны проводами и напутствуют музыканта посильными насмешками и остротами.

Эта первая неприязненная встреча художника нашего при самом вступлении его в свет, ссора, тяжба и невольное отступление – крепко его огорчили и расстроили сладкие мечты, уверенность, что искусство его всюду встретит одних покровителей. В новом жилище продолжал он, конечно, довольно спокойно, вседневную школу свою, потому что глухие каменные стены обеспечивали уши соседей, и наоборот, его самого от влияния и помех со стороны жильцов и хозяев, но одиночество стало надоедать Виольдамуру, который сам не знал, что ему хотелось. Многосторонние дарования гениального художника совершенствовались – по собственному мнению его – не по дням, по часам; и если бы у него были под рукой достойные ценители, которые сумели бы вовремя утешить его и ободрить, то у него, вероятно, стало бы терпенья еще надолго. Но в этом одиноком покинутом

положении Виольдамур сравнивал себя с отломком скалы среди взволнованного моря, с парящим орлом, которому нет под облаками ни друга, ни товарища; часто приходило гению нашему в голову, явиться внезапно и нечаянно среди прежних знакомцев своих или, лучше сказать, отца своего, записных и цеховых скрыпачей, и удивить их гениальностью своих успехов – но каждый раз он опять передумывал и оставался дома. Зависть и невежество заградят ему путь – это он предвидел; в этом кругу музыкант надувал духовой инструмент свой так же точно, как серебряник паяльную трубку, а смычок ходил в руках скрыпача, как орудие того же названия в руках шерстобита. Так думал по крайней мере Виольдамур, отличая в незрелых понятиях своих художника от ремесленника и причисляя самого себя к первому, а иных-прочих ко второму разряду. "Пусть они услышат обо мне наперед со стороны, тогда они протрут клетчатými платками очки свои и взглянут на меня без цеховых предубеждений. Пусть меня наперед признает свет, тогда и записные шерстобиты и свирельщики на-

ши оглянутся и приподымут брови".

Среди такого раздумья Христиан Христианович пустился однажды погулять в Летний Сад. Он расхаживал медленно, то один, повесив голову, разглядывая будущность свою, то среди пестрой и важной толпы – и, оглядывая всех мимоходом наискось, рассчитывал, скоро ли придет то время, что появление его среди толпы праздных зевак и гуляк, среди озабоченных службой или нуждой деловых и светливых скороходов возбудит несколько более внимания, чем теперь? Скоро ли все эти маменьки и гувернеры указывать будут взором и боковым наклоном на прохожего артиста, шепнув детям и подросткам своим: вот видите, это Виольдамур! И все будут оглядываться на него с чувством глубокого уважения; никто не станет спрашивать: какой Виольдамур? Имя это будет знакомо всем, и много будет ему тогда и славы, и чести, и богатства. Одно только будет беспокойно: всегдашние со всех сторон просьбы участвовать в концертах людей посторонних и даже весьма посредственных по дарованию. Как быть, подумал он, надобно, скрепив сердце, быть

снисходительным: и им нужен кусок хлеба, а мне это будет стоить небольшого. Впрочем, и это также зависит от того, как будешь себя держать, на какую ногу себя поставишь.

Но как достигнуть известности этой? Вот задача! Положим, во мне бы сидели теперь воплощенные все первейшие виртуозы в мире, и положим даже, что чувство, душа игры моей – которая нисходит свыше и не может быть приобретена никакой наукой – положим, что эта душа... что в игре моей, хочу я сказать, было бы даже более души, чем в игре самых знаменитых художников, – каким же образом я прослаблю себя и заставлю всех узнать меня и оценить?

– Вы ли это, Христиан Христианович, – сказал не молодой уже человек, который несколько минут рассматривал издали нашего мечтателя со всех сторон. – Вы ли это? И где вы столько времени пропадали без вести? Да как подросли, да какой молодец стал, ей-ей, насилиу узнаешь!

Виольдамур взглянул на него, узнал тотчас старого знакомого, обрадовался и подал ему руку. Это был – кто бы вы думали? – это был и

нам несколько знакомый человек, хотя мы и видели его только мимоходом, когда присутствовали на первом концерте Христиньки, где старичок Амедей Готлиб не дышал от восхищения, Катерина Карловна всхлипывала от удовольствия, а остальные слушатели также изъявляли, всякий по-своему, участие свое. Помните ли, что тогда, за стулом старика, стоял скрестив руки добродушный губан, о котором мы не решились сказать положительно, литавра ли это или тромбон? Он-то стоял теперь перед Виольдамуром в любимом положении своем, твердо, уверенно, осанисто, скрестив руки – и после двух, трех слов представил ему тут же сына своего, похвалив музыкальные успехи его и похвалившись еще тем, что сын этот отправляется вскоре в недалнюю губернию, к богатому помещику, капельмейстером. Литаврщик был не слишком словоохотлив, говорил отрывисто, грубым голосом, сжимая после каждого слова губы, но неожиданная встреча расшевелила его, а от радости, что сын был сегодня хорошо пристроен, молчаливый литаврщик стал разговорчивее обыкновенного.

— Как вам везет,- сказал он, — каково поживаете? Вот сынишко мой — однолеток ваш — слава богу, отца радует; играет хорошо, и смыслит, и толк знает, хоть и не годится в глаза хвалить; только что молод еще; все ветер ходит в голове. Нашлось и местечко, тысяча рублей на всем готовом: жить можно; и навещать будет отца по разу в год, это выговорили мы для своего удовольствия. А вы же как?

— Да я также занимался в последнее время,- отвечал Виольдамур,- не знаю только, что сказать вам о своих успехах. Много лет мы с вами не видались — я давно уже освободился от опеки дяди и вот живу на своих хлебах...

— Что же вы, стало быть, уроками занимаетесь,- перебил его тот.- А то не слышать было об вас?

Это *не слышать* подстрекнуло Виольдамура, и самолюбие его немножко зашевелилось: дай, подумал он, попытаюсь, что скажут люди об искусстве моем: подведу к тому, чтобы они меня послушали. Подвести к этому было не мудрено; Виольдамур стал звать отца с сыном к себе, а первый очень основательно

заметил, что чем идти теперь на Пески, так лучше же остаться на перепутьи в Моховой и выпить чашку чая у вашего покорного слуги. Виольдамур был сговорчив и на это; они прошли до Моховой, и через четверть часа он разыгрывал уже на память концерт Виотти, а литаврщик и молодой капельмейстер пристально слушали. Сыграно было довольно чистенько, бегло; и тот и другой, не ожидая такой мастерской игры от Христиана Христиановича, изъявили полное свое удовольствие и удивление; малословный литаврщик, помахивая значительно головой, повторял отрывисто: "хорошо, хорошо, браво, славно"; молодой восхищенный капельмейстер обнимал Виольдамура и просил у него ненарушимого братства и дружбы. С этой минуты родилась тесная связь между обоими молодыми людьми и если не глубокая, то по крайней мере горячая и тесная дружба.

Первая требует для свободного плавания глубокого фарватера, который, по местным обстоятельствам, не везде встречается, вторая не так грузна, ходит свободно по мелководью и вообще не так прихотлива.



Молодой капельмейстер походил немного носом и губами на отца; приемы его были также иногда крутеньки, но вообще это был довольно благородный и курчавый юноша, который видел впереди много славы, богатства, красавиц, радости, веселья, удач, - словом, много хорошего. Из всех свойств, приписываемых вообще курчавым, горячность, запальчивость и порывистое, живое восхищенное воображение принадлежит ему в довольно значительной степени; он увлекался всем, покуда воображение его разжигало, но и скоро остывал, если некому было подливать по временам масла, или же воспламенялся чем-нибудь новым. В этом отношении он составлял редкую противоположность с отцом своим, знаменитым по хладнокровию литаврщиком, и наследовал нрав матери, у которой и в голове и под руками вечно все кипело. Я часто недоумеваю, глядя на такое, вовсе не русское, сложение, где сверх того не заметно ни чудской, ни норманнской, ни татарской, ни же монгольской крови. Бог весть откуда у нас берутся такие выродки, но только, воля ваша, это что-то не русское.

Виольдамур с виду был несколько спокойнее нового друга своего, но этот в сущности был рассудительнее и поумнее. В первом не заметно было этой вечной горячки, нетерпения, непоседности; но и он, как мы не раз видели, умел увлекаться первым движением, а звание художника давало ему право носиться грезами и мечтами своими в каком-то непостоянном и не совсем надежном мире, который так легко убаюкивает нас баснословными надеждами, потому что все мы живем охотнее в будущем, нежели в настоящем. Дружба загорелась между Христианом Виольдамуrom и Харитоном Волковым – имя капельмейстера – неразрывная, неразлучная; они с этого дня один без другого не могли жить. Оба художники, оба люди гениальные, оба музыканты – или, бишь, виртуозы-артисты: взаимное сочувствие бесконечно сильно, будто один родился и создан для другого, а наконец, даже общий вензель – Х. В.! это просто удивительно; такая случайность соединяет в себе что-то роковое и поневоле заставит верить в предназначение судьбы! Дружья обменялись перстнями и печатями своими.

Волкову-сыну оставалось не долго пробыть в Питере, и потому Виольдамур жил у него почти безвыходно, и старик всегда встречал его радушно. Если же Христиан не являлся еще в полдень, то Харитон отправлялся в нетерпении на Пески, рыскал за ним по целой столице и не мог с ним расстаться до поздней ночи. От сотворения мира и до наших времен не пронеслось столько облаков по поднебесью, сколько новые друзья наши пустили в это короткое время на воздух планов и предположений относительно будущности своей, руководствуясь при этом едва ли не рассказами Тысячи и Одной Ночи. Но чем более сближался срок отъезда одного из них и день разлуки, тем горестнее глядели они друг на друга; наконец, Харитон объявил задушевному другу своему, в припадке какого-то иступления, что ни жить, ни умереть без него не может и что на это должна быть воля судьбы; Харитон задушил было нового друга своего в объятиях, схватил его под руку и стал скорыми шагами прохаживаться по комнате. Христиан, казалось, также был тронут.

— Знаешь ли что,- вскричал первый, оста-

новившись и схватив друга за оба плеча, — знаешь ли что? поедем вместе! Едем, и не говори ни слова: что тебе здесь делать? Столица — омут, море необъятное — тут все утонет, кроме одной только моды — все, все; здесь ценят не художника, а ценят моду на того или другого человека; скажи сам, кого же оценил, прославил и пустил на свет готовым художником наш Петербург? Назови какие хочешь громкие и славные имена: все они добыли имя это не здесь, а сюда приезжали только пожинать готовые лавры, дань удивления, начитанного в заморских газетах и журналах; тебя сто раз заметят в губернии, где ты будешь один; и если потом, усвоив себе всю механику игры, вздумаешь, для возвышения и окончательного изощрения вкуса, отправиться за границу, показаться там и, наконец, воротиться, когда наши газеты и журналы станут перепечатывать безграмотные переводные статейки свои, под видом собственных, когда заревут, что русский де художник удивляет Париж, Лондон, Вену — тогда, брат, пора твоя настанет, и смело можно явиться на родину: верь мне, тогда старые перчатки

и тросточки твои будут храниться знатоками-любителями под стеклом; тогда руки твои станут отливать в гипсе; тогда необъятная любезность твоя будет восхищать княгинь и графинь и ты будешь как в масле сыр кататься; а теперь – посуди сам, что ты теперь сделаешь здесь? кого удивишь? какого ты толку добьешься? Разве Петербург поверит когда-нибудь своим глазам и ушам; разве поверит он сам себе, что гениальный художник, артист, родился и вырос в стенах его, когда вне Петербурга его не знают и не в одной французской газете не было сказано об нем ни слова? Что, не правда?

— Правда,- сказал со вздохом Виольдамур, – это справедливо.

— Ну, чего же еще думать? едем вместе; мой помещик человек богатый, человек образованный, знает и ценит искусство: ты видишь, он мне дал тысячу рублей жалованья; он примет и тебя, это я знаю, ручаюсь тебе в этом, даст тебе хорошее содержание – уроками и концертами ты добудешь столько же и присоединишь это к своему наследству, поедешь года на три, на четыре за границу – и

туда, друг, поедем вместе; верь, и у меня такое намерение, и я добиваюсь того же; поедешь, прославишься – а! Тогда-то заговорят об нас и здесь, тогда оглянутся и спросят: да неужели они выросли тут, подле нас, на Песках, на Моховой? – Как же мы ничего об них тогда не слышали? – Как не слышали? да так, глух, мой отец, а глухота, – говорит Грибоедов, – большой порок. Душа моя, уедем! – И начал душить его в мощных своих объятиях.

Виольдамур, недолго думав, согласился. Харитон от радости сел ему в один прыжок на шею, а друг его, не ожидав таких конских объятий, подломился под ним, и новый капельмейстер полетел носом в пол. Это, впрочем, несколько не расстроило его удивительно веселого и счастливого расположения; он уверял, напротив, что маленькое кровоупускание из носу иногда чрезвычайно полезно, особенно в такую минуту, когда кровь бывает в таком волнении.

С этой же минуты начались сборы Христиана, потому что оставалось немного дней до отъезду; помещик накупил в Питере всякой всячины и отправлял обоз в деревню, а с обо-

зом следовало ехать и гувернеру и капельмейстеру, которые принадлежали к вновь заводимому хозяйству. Наследство, необыкновенный прошлогодний урожай и выгодный сбыт хлеба поставили помещика этого в возможность развернуться вдруг пошире; рассчитывая, что при подобных доходах можно проживать ежегодно тысяч тридцать, он и забыл уже, что не далее как третьего году был в жестоких тисках и едва не лишился всего имения. Кто прошлое помянет, тому глаз вон; русский человек не мечтатель, не любит жить в будущем, а охотнее распоряжается настоящим. Когда господь послал нечаянно благодать, то помещик наш и думал было уплатить сперва долги, особенно те, за которые отвечало имение его и с которыми шутить было плохо; но как гора и крута, да забывчива и помнят ее, когда уже миновали, разве одни только лошади, а не люди, которые на них выехали – то помещик наш, повторяя при всех новых затеях своих: что же мне жить рохлей, прибауткой, ни на себя, ни на людей? ведь как помрешь, так закопают дурака, только и будет! Жив, покуда жив, а раскланяешься

так не разживешься. Повторяя, говорю, подобные чисто русские отрывки из опытной премудрости Соломоновой, помещик наш задумал вдруг жить великолепно и в одно и то же время отделал дом и в городе и в деревне, купил в Питере великолепную мебель, начал устраивать разошедшийся отцовский оркестр, выписал гувернера, повара и капельмейстера. Повара и капельмейстера приказано было отыскать самых что ни есть лучших; гувернера средней руки, почему и жалованья положено ему было поменьше, а первым двум поровну. Помещик этот между прочим чрезвычайно любил приговаривать к каждому слову: *прибаутка* и рассказывать друзьям своим, что у него из Питера, кроме того и сего, скоро будет-де еще новая *прибаутка*; а на вопрос: *какая?* отвечал преспокойно: *капельмейстер*.

Все сборы Христиана состояли в укладке оркестра своего, который занял сам по себе большую подводку; сам же он сел к другу в зимнюю повозку. Волков-отец напутствовал их обоих своим благословением, проводил до *Трех рук* и распростился.

Потянулся обоз наш шаг за шагом ухаба-



ми, по знаменитой, не знаю за что, на помине, русской зимней дороге. Огромные бубенчики на щеках у коней мерно покачивались и бренчали – лошади пофыркивали, извозчики, приговаривая: ну, будь здоров – то шли рядом, поколачивая рукавицами, то садились на облучок, то без всяких приговорок, завалившись на воз кверху ногами, будто лапти просушивать, засыпали непробудным сном. Тут же тянулась гусем неказистая на вид кибитка, скрывавшая в себе под запоном из новой циновки, сокровище наше, Христиана Христиановича, и не менее гениального в своем роде друга его, Харитона Волкова. Короткие дни текли однообразно, а бесконечные ночи еще однообразнее; все те же постоянные дворы, где встречают вежливо, а провожают, после непомерных запросов, с криком, шумом и бранью; те же вечные чаи да пустые, в постное время, щи; те же дворники, или хозяева постоянных дворов, с огромными окладистыми бородами, в красных рубахах, со счетами в руках, и тот же банный пар валит с хозяев этих, когда они, выскочив в одной рубахе из избы, растворяли и затворяли

по скрипучему снегу широкие ворота; та же дебелия хозяйка, которая произносила названия всех монет наших не иначе, как в уменьшительном виде: четвертачок, полтинничек, целковенькой; которая уверяла, что все есть, а на поверку выходило, что нет ничего, ни даже съедомого хлеба. Только и было во всю дорогу перемены, что в одном месте комиссионер, расвирепев на извозчиков за то, что они не дали почтовой тройке его дороги, выскочил из зимней повозки и остановил обоз холодным оружием, при чем артистов наших в суетах вывалили в канаву и засыпали снегом; да еще извозчики приставали к ним по временам, требуя в счет извоза денег, для расплаты за овес и сено, хотя оба путника, Христиан и Харитон, каждый раз отвечали, что им до этого нет никакого дела, что они сами пошли в счет клади, а извозчикам должно ведаться с тем, с кем рядились. Все это парни наши, казалось, очень хорошо понимали, но, почесав затылок и плеча, с неутомимым постоянством возвращались опять-таки к своему требованию; если же художники наши, после долгих объяснений, полагали, что теперь по-

кончено и перетолковано все и что извозчики поняли наконец в чем дело, то один из них, какая-нибудь долговязая оглобля, подламываясь и перегибаясь в коленях, выступал вперед и почесывая голову говорил: "Ну, хоть красненькую, барин, пожалуйста: так уж и быть".

Сколько ни ехали, а наконец приехали; и едва ли не единственное утешение для нас, пускаясь в подобный путь с извозчиками, на протяжных, что всему на свете бывает конец, и всякой езде или дороге также. Прибаутка радостно встретил обоз свой, но изумился несколько, увидев двух капельмейстеров вместо одного. Он объявил, что обоих держать не может; но обещал Виольдамуру с своей стороны всякое пособие и содействие.

Виольдамур осмотрел город, отыскал себе жилье, условившись наперед, что может трубить и гудеть сколько ему угодно, и устроился таким же точно образом, как на вышке в Болотной. Волков, который в открытом доме Прибаутки познакомился с целым городом, успел вскоре, с редким самоотвержением, распусть слух о необычайном виртуозе, который осчастливил приездом своим город.

Тут же, в доме Прибаутки, и сам Виольдамур познакомился со многими, был усердно приглашаем всюду, перепробовал в течении двух недель в целом городе все рояли, флигели, фортепианы и клавикорды, показал всюду образчик голоса своего, с хазового конца, и не успел оглянуться, как его уже и пригласили тут и там давать уроки, и между прочим, наперед всего, одной из первых в городе красавиц, известной под названием Царь-девицы.

Вы видите первый урок Христиана Христиановича – урок, как мы узнаем после, обоюдный, не только для ученицы, но и для учителя. Учитель наш видно запасся в Питере не одним контрабасом: он будто сейчас только сорвался с иголки какого-нибудь Руча, с гребенки Грильона, с шильца Аренса и так далее. Он чувствовал, что ему надобно будет показаться в губернии порядочным человеком, а не каким-нибудь отставным констапелем, который перешил фрак из флотского вице-мундира. Так Виольдамур и сделал, и стоит теперь перед вами в виде благоприличном. Сверх того, видите ли, как он тонко, вежливо и приятно улыбается? как скромно и

прилично закинул одну руку со шляпой за спину, а другою, не снимая перчатки, образующей на конце какие-то отчаянные когти, указывает слегка только издали на погрешность милой ученицы своей? как снисходительно и уступчиво потупляет глаза, желая смягчить сколько можно замечание свое, как ободрительно и приветливо поворачивает носом туда, где, по мнению его, сделана была небольшая ошибка?

Виольдамур возвратился домой счастливый и, блаженствуя, до поздней ночи распевал самые нежные, страстные романсы, выделявая голосом: о-о-о-о! – закатывая глазки под лоб и заканчивая риторнель сладкой и сочной улыбкой. Наконец, кларнет успокоил несколько это неестественное волнение, и виртуоз заснул и лежал во сне, как наяву, с тою же миловидною и приятною улыбкою на устах, которую вы видели на нем, когда стоял он, при первом уроке, за стулом первой – во всяком смысле – ученицы своей.

Легко отгадать, что при таком блистательном начале дела Виольдамуре пошли со дня на день лучше. Бескорыстный, горячий друг

его, надобно отдать ему справедливость, не думал завидовать успехам собрата, а старался, напротив, всеми средствами поддерживать его в общем мнении. Они виделись ежедневно, и Христиан сделался даже в доме Прибаутки своим человеком. Учеников и учениц у него было довольно, но он всех их ставил ни во что, в сравнении с первой, несравненной ученицей своей.

Город, куда попал художник наш, был довольно многолюдным, благовиден, славился берестовыми табакерками, был известен в географии судоходной рекой – но только в географии, потому что стоял на луже – был известен в истории проездом через него многих знаменитых особ, а в статистике, кроме табакерок, кожевенными, мыловаренными, салотопенными и свечными заводами, хотя и тут опять город и самое отечество наше обязаны были всеми заводами этими собственно статистике, как науке, потому что на деле вместо заводов этих оказывалось только три-четыре избы, в Московской Слободке, заваленных кругом мусором, навозом, корьём и окруженных непроходимую грязью и непро-

ницаемую вонью Оспаривайте, после этого, пользу статистики!

В городе – положим, его называли Сумбуром – в городе было гульбище или сад, а в саду этом был когда-то пруд; по как однажды, на Святой неделе, пьяный мужик увидел в светлой воде подобень свой и, хотевши с ним поцеловаться, свалился в воду и утонул, то во избежание таких неприятных случаев распорядились засыпать пруд и поставить на месте его безопасный для жителей храм славы. Храм этот сооружен был из тесаного камня и стоил городу довольно много; польза его не была досель еще никем отгадана; не менее того, однако же, сумбурские жители всегда водили заезжих гостей на гульбище и показывали им каменный храм славы, как вещь замечательную, достойную внимания, и называли при этом всегда троих строителей храма. Втроем, скажете вы не мудрено выдумать такую хитрую штуку – оно так, но зато, по половице; один такой-то камень в воду закинет, а сотни других его не вытащат – никакой ареопаг, конечно, не добился бы ни цели, ни пользы этого здания. Еще славился Сумбур го-

стиным двором своим, который составлял собственность одного частного человека, купца Босомыгина. Место, где стоял гостиный двор, принадлежало когда-то какому-то подворью; Босомыгин заключил договор, чтобы ему дозволено было выстроить на свой счет каменные лавки, с оброком по пятисот рублей в год, на шестьдесят лет, после чего лавки поступают в собственность подворья. Дума впоследствии объявила спор на место это и завела тяжбу с подворьем; тяжба тянулась четырнадцать лет – между тем Босомыгин давно уже отстроил лавки, брал с них доход и никому оброку не платил. А как обе стороны тяжущихся спорили только между собой, а об нем и позабыли, то он, соскучившись дожидаться конца тяжбы этой, подал объявление, что место бесспорно принадлежит ему, потому что город спорил с подворьем, с ним же, Босомыгиным, никто спору не заводил и он владеет местом без малого полторы земские или десятилетние давности. За ним место и осталось. Вот какому счастливому обстоятельству город обязан был постройкою гостиного двора. Еще славился Сумбур так называ-



емыми подвижными деревянными лавками, которые никогда и никуда не подвигались, а между тем, неизвестно для каких причин, выстроены были на колесах; может быть, на случай войны с Турками или перемещения города на другое место; ныне по крайней мере стояли они со дня сотворения своего чинно в один ряд, на одном месте, а по мере того, как оси в колесах под ними подгнивали, они заменялись новыми. Еще славился Сумбур конским заводом, который содержался с давнего времени отставным регистратором Рюховкиным. Рюховкин торговал еще кроме того ломом, старым железом Табун его пасся обыкновенно во всю зиму на Собащем Овраге, куда со всего города сваливали навоз, и заводчик уверял, что там корм сытный, большею частью хлебный. Не знаю, верили ль ему лошади на слово, но жалоб от них никуда не поступало. Вот и всё, кажется, все знаменитости города; если к этому присовокупить предположение, впрочем еще не утвержденное, об украшении города надолбами нового изобретения, отделанными на оба конца в виде бочончков, на одном конце под дубовое дере-

во, с черными обручами под железо, на другом под карельскую березу, с обручами белыми – то, кажется, достопамятности все, и больше говорить не о чем. Заметим только, что надолбы эти предполагалось зарывать в землю по будням дубовыми бочонками кверху, а в торжественные дни оборачивать, обновив и украсив таким образом вдруг весь город надолбами из карельской березы. На замечание недогадливых людей, что концы, выкрашенные под карельскую березу, сгниют, до праздника не доживут – отвечал изобретатель, что их можно завертывать в сахарную бумагу, которая, как известно, всеми силами противится гнилости, и полагал вменить дело это в обязанность домохозяев.

Если, однако же, читатели из этого предположения заключат, что домохозяевам Сумбура нечего было больше делать, как завертывать надолбы против дому своего в сахарную бумагу и оборачивать их то туда, то сюда концами, то это будет заключение несправедливое. Кроме службы, дружбы, визитов, торговли, хозяйства, жители Сумбура занимались очень усидчиво человеколюбивыми подвига-

ми и более всего работали и жертвовали в пользу карточной фабрики Воспитательного Дома. На такое благотворительное дело не жалели они ни трудов, ни издержек, ни времени. Босомыгин подвозил целыми обозами товару для работы этой и не мог напастись его и наготовиться. Для этой благой цели собирались в Сумбуре ежедневно и во многих местах утренние, полуденные и вечерние роберы и пульки, и если полуденная пулька прерывалась иногда послеобеденным отдыхом, то зато всеми силами старались поправить и наверстать грех этот за вечерней пулькой, растянув ее вплоть до утренней. Можете себе вообразить, какого это труда стоило благодетельным Сумбурцам и в каком изнеможении они иногда вставали из-за зеленого стола; даже, поверите ли, мелок иногда двоился в глазах, не только то, что написано мелом! Служба лежит, дела почивают; да за службой не угоняться, господской работы не переработать: в доме нередко нужда такая, что семейство, до новой трети, почти не евши сидит, а делать нечего, на завтра опять принимаются за то же; без самоотвержения нет и доблести

и никогда доброго дела не совершишь.

Слабый пол города Сумбура занимался, как обыкновенно, взаимными визитами, поздравлениями, современными в городе событиями и летописью настоящего; был впрочем склонен также к благотворению и нередко жертвовал всем, по доброму примеру сожителей, для посильной человеколюбивой дани. Но чтобы читателей убедить не шутя в благотворительности Сумбурцев, то истина требует заметить, что было недавно дано в городе любителями театральное представление в пользу бедных и послано об этом во все ведомости и газеты подробное объявление. Рассчитано положительно, что наряды и другие издержки на комедию эту стали втрое дороже самой выручки, из чего и можно бы заключить, что было бы гораздо проще сложиться для бедных, без всякой предварительной комедии; но такое суждение едва ли не опрометчиво, потому что около всякого дела, как около продажного коня, надобно обойти кругом и осмотреть его со всех сторон; бедные много ли мало ли от Сумбурцев таки получали; а тут, главное, показаться в люди с новым

пером, током, коком или клёком и подсидеть супруга случаем этим, чтобы некуда ему было увернуться, а хочешь, не хочешь, доставай деньжонки да подавай к наряду. Если мы рассудим вследствие всего этого, как благодущные Сумбурцы круглый год, тем или другим путем, посвящали себя на жертву страждущему человечеству, то нисколько не покажется нам удивительным, что они, во-первых, не выходили из круговых долгов между собою, почему чрезвычайно опасно было замешаться между ними постороннему человеку; главное правило их состояло в том, чтобы взять, о возврате же, по их мнению, должен заботиться тот, кто дал, а не тот, кто взял; во-вторых, что в Сумбуре летом продавались в каждом доме возки и сани, а зимою дрожки, кареты и коляски. Кроме того, перед каждым сколько-нибудь значительным балом или пиршеством Сумбурцы приветствовали друг друга словами: а не купите ли вы у меня часов? Часы очень хорошие, я думаю, знакомые вам, вот, что прошлого году купил я, перед губернаторским балом, у Ивана Федоровича.

Был, однако же, в Сумбуре и вкус на уче-

ность, на искусства и художества, на словесность. Ученым, например, считался один учитель семинарии, который в течении двадцати лет странствия из губернии в губернию обучал почти всем наукам, не щадя живота своего, ни жизни. В Костроме преподавал он российскую грамматику, в Ярославле латинский язык, в Вологде ретиорику, в Перми логику, в Харькове философию, и наконец в Сумбур приехал на вакансию учителя истории и географии. Кто раз кончил науки, тот на все способен. Был и еще ученый, и, говорят, очень ученый человек в Сумбуре, и знал наизусть все науки – да вот уже третий год как с ума сошел; и как занесет, так уж и сами Сумбурцы не понимают, из какой науки. А как у этого ученого была искони привычка помахивать головой, то Сумбурцы и полагают, что он как-нибудь неосторожно встряхнул и взболтнул все что было у него в голове, и все это переболталось и вышел сумбур. Впрочем, человек этот даже и в нынешнем положении своем был полезен Сумбурцам в двойном отношении: во-первых, он служил для многих богобоязливых граждан примером, каковы

бывают последствия глубокой учености и как у ученых людей ум заходит за разум; а во-вторых, как некоторые, несмотря на страшный пример этот, считали необходимым учить детей своих всем наукам, то его иногда – в прохладные дни летом, и не слишком морозные зимою, когда он бывает помирнее, – заставляли учить детей. Сумбурцы, вероятно, полагали, что если белиберда эта из головы его перейдет в здоровую голову, то ребенок сам уже сумеет разобрать, что куда следует и отделить – как выражаются Сумбурцы – одну науку от другой. Учитель семинарии уверял неоднократно, что ему и самому известны все науки и что он по крайней мере мог бы преподавать их основательнее и в лучшем порядке; но что ж вы прикажете делать! Сумбурцы не слушались его, не доверяли ему детей своих и большею частью отдавали преимущество бедному бакалавру. Поэтому ученики и твердили вслух, перед папенькой и маменькой: – Грамматика есть наука о числах. – Прилагательное есть такая дробь, коей числитель меньше знаменателя – и прочее. Словесность разделяли Сумбурцы на писаную

и на печатную; первая проявлялась в Сумбуре во всех деловых бумагах, дружеских записках и, наконец, в сочинениях, которые писались учителем российского красноречия к публичному испытанию для своих учеников. Вторая, печатная то есть, сосредоточивалась в почтмейстере и в знакомом нам уже несколько Прибаутке; не то, чтобы господа эти были писателями, но они, каждый по особым обстоятельствам, считались прикосновенными к печатной словесности; один из них, почтмейстер, распечатывал все приходящие газеты и журналы. Прибаутка считал долгом подписываться, один за всех, на все книги, о которых объявления присылаются из разных ведомств в губернии при таких письмах, которые просят: "о последующем не оставить своим уведомлением". Прибаутка, зная по многократному опыту, что с жителей уезда в этом отношении взятки гладки, и принимая притом весьма рассудительно во уважение, что стало быть де книга эта нашла покровительство, подписывался один, иногда даже на два экземпляра. Вот источник библиотеки нашего Прибаутки.



Свободные искусства и художества процветали также в Сумбуре до известной степени: не говорим о том, что туземная молодежь обоего пола плясала самоучкой и во время ярмарки, брала танцевальные уроки у француза, который торговал сыром, вином и помадой; что учитель рисованья расписывал прехитрыми затеями альбомы всех барышень,- о, золотое время альбомов!- оттушевывая очень аккуратно амурчиков своих справа и слева, закругляя лепестки розы без единой складочки и выводя перышком, как в трафаретку, мелкие зубчики листков, обороченных один в один лицом к зрителю; не говоря об этом, девицы сумбурские беседовали с кавалерами всего охотнее за фортепианами и были, следовательно, большие любительницы музыки. И вот как мы, наконец, после долгого отступления, совершив опознательный поиск свой для разузнания быта Сумбурцев, благополучно возвратились к заветному предмету своему, к музыке.

Если Виольдамур, предчувствуя назначение и дар свой, видел в столице необходимость выработать самобытные способности

свои, изучать искусство, которому себя посвятил, если притом уехал отчасти для этой же цели в губернию, надеясь возникнуть оттуда со временем неожиданной кометой, которой течение не было досель никем предугадано и рассчитано, то местность сумбурская по-видимому необычайно быстро способствовала развитию гениальных дарований; по крайней мере Христиан Христианович в несколько недель убедился, что он в своем роде неподражаемый человек; что он достиг уже высшей степени совершенства и может не только ехать за границу, для того чтобы послушать других, но даже и сам в своем роде никому не уступит, а опасны для него только разве зависть и невежество. Он блаженствовал в Сумбуре; в нем разыгралось, сверх музыкального, еще какое-то восхитительное чувство, для которого он был бы даже готов закинуть все на свете тромбоны и скрипки — хотя ему и казалось, что это было бы неблагодарно, потому что и этим новым блаженным чувством был он обязан, как сам перед собой охотно признавался, одной музыке. Как бы то ни было, а Христиан Христианович, блажен-

ствуя в Сумбуре, не сидел более часов по шестнадцати в день за оркестром своим, перебирая поочередно все, от рояля до турецкого барабана; не робел уже более при скромной недоверчивости к собственным силам своим, а жил самонадеянно, выставляя себя всюду напоказ. Всякое искусство может быть оценено только сравнительно: а как в Сумбуре не было соперников Виольдамуру, то он и успел в короткое время забыть, что Сумбур не составляет еще целого света, и смотрел сам на себя как на высшее, недостижимое для простых смертных существо. Он принял на себя в обществе должность какого-то несносного повесы: важничал пошло, а любезничал приторно; заставлял себя упрашивать и умаливать, когда хотели, чтобы он спел или сыграл что-нибудь, иногда уверял, что он не в духе, не расположен, и, развалившись небрежно на кушетке, с самодовольствием поводил вокруг головою, как спесивый куличок, и одарял поочередно благосклонной улыбкой своей окружающих его неутомимых просителей, поклонниц и поклонников. Он выписывал духи из Петербурга; батистовые платочки его обши-

вались кружевами; перстеньки, булавочки, супирчики и сувенирчики занимали его не менее скрыпки и кларнета; он сделался чувствительным к весне, к цветам и жаворонкам, давно уже бросил фарфоровую трубку и курил только гаванские сигары.

Вот в каком положении были дела Христиана Христиановича, когда весна вспомнила наконец, что есть на свете земля Русская и на русской земле город Сумбур. Вспомнив же это, она налетела вдруг, как с неба канула. Весна была дружная, теплая, все зазеленелось, воробьи зачирикали, глядя с краешка кровли на последние капли, падающие со стрехи; конский завод Рюховкина перекочевал уже с Собачьего Оврага на летнее становище свое, на городской выгон; храм славы, служивший памятником утонувшему на этом месте пьяному мужику и покойному пруду, храм славы белелся величественно между новою, свежую зеленью; молодые гусята щипали травку под любым тыном и сиплым писком, после каждого глотка, убеждали родителей своих не покидать их, не торопиться еще к лабазному ряду, потому-де, что весною зеле-

ный корм лучше хлебного. В первый раз отроду увидел Виольдамур весну за стенами Петербурга и как нарочно в этот первый раз встретил ее упоенный любовью. Была ли также и знаменитая ученица влюблена в него, и сколько и надолго ли, не решимся сказать положительно, хотя нам известна вся подноготная нашего рассказа; для этого надо бы написать, в виде вступления, целое рассуждение о любви, которая бывает большею частью столько же скучна на бумаге, сколько занимательна на деле. Ведь барышни наши – бог их суди – и в столицах, и в губерниях, по невинности и неопытности своей, и сами не знают, когда любят, когда не любят, когда любят по своей воле, когда по какому-то темному чувству предусмотрительности или по распоряжению маменьки; когда шалят только и тешатся страданиями нашими для забавы – все это так шатко и валко, так ненадежно, так темно, сомнительно и сокровенно, – так изменчиво, быстролетно, непостоянно, непостижимо, неуловимо, необъяснимо – что трудно решить дело не дождавшись конца. Если поверить современной летописи Сумбу-

ра, то была тут страстная и даже отчаянная любовь с той и с другой стороны; если послушать завистников и соревнователей Виольдамура на скользком поприще любви, то всему он один был причиной, потому что был сам влюблен за двоих и любил ее за себя и себя за нее, чем и ограничивалась взаимность этой страсти; если хотите непременно и нашей догадки, то мы попросим вас продолжать терпеливо рассказ наш, с полною надеждою, что дело должно со временем объясниться. Барышни наши иногда влюбляются сильно, хотя и не надолго, если игрушка и забава эта льстит их самолюбию, если она заманчива новизною предмета, который теперь в моде, в ходу, — иногда они воображают сами, что страстно влюблены, иногда считают только полезным зачислиться влюбленными: как зачисляются в кандидаты — иногда влюбляются по приказанию и распоряжению своего ближайшего начальства, и такая покорная любовь нередко с таким же безответным повиновением обращается в равнодушие, даже в ненависть, если обстоятельства изменяются; иногда они только что не противоречат слу-

хам по этому тонкому и щекотливому предмету; иногда же, напротив, противоречат везде, ищут случая, вызывают на спор и бой, чтобы доказать невинность свою, и тем еще более возбуждают общее внимание, укрепляют общее мнение; иногда, в младенческом неведении своем, рассказывают по секрету подругам небывалые объяснения – и опытные судьи уверяют, что и эта тактика бывает не безуспешна; тут причуд и оттенков столько, столько разнообразных изворотов, что выследить их было бы не только затруднительно, но, может быть, и скучно. Будет с нас на первый случай и того, что мы знаем не менее самых Сумбурцев, которые знают положительно, что Христиан Христианович и Настенька Травянкина друг в друга влюблены.

Между тем, едва Сумбурцы наши, как и другие люди, дождались в свое время весны, как уже дошла до них и очередь залетовать, дождались они и лета. Пришло время между-жарья, где иному сельскому хозяину делать нечего, где он, покончив свое, ждет сложа руки, чтобы и природа сделала свое, а где, по словам другого, не оберешься забот и хлопот,

и работы бывает больше, чем во всякое иное время. Не беремся решить это разногласие, а скажем только, что Сумбурцы наши едва ли не держались первого мнения, по крайней мере у них ежегодно об эту пору была довольно людная ярмарка, на которую съезжалась вся губерния. Но, оставив на время ярмарку, мы должны наперед возвратиться вспять и сказать несколько слов о бывших зимою дворянских выборах.

При съезде дворян на выборы любопытно было подслушать задушевный разговор каждого из них, допросить его по совести, зачем и для чего он приехал? Дворянские выборы — это дело общее и великое, но в продолжении целого съезда ни один Сумбурец не сказал ни одного слова, которое бы могло относиться, хотя косвенно, к общему благу губернии; ни слова, которое показывало бы, что он постигает умом и чувствует сердцем всю важность прав своих и обязанностей по настоящему делу. Вот какой скрытный народ были Сумбурцы наши; всякий без сомнения понимал и чувствовал все это, но молчал про себя, или может быть и рассуждал об этом сам с собою;



вслух же каждый заботился только о личных надобностях своих, о видах и намерениях. Один грозил соседу, что нога-де моя не будет на твоём пороге, если не положишь белого шара такому-то; другой собирал свой кружок для черных шаров такому-то; какой-нибудь шутник подговаривал всех выбрать, для одной потехи, такого-то чудака на такое-то место; тот хлопотал за себя, тот за кума, за свата, за соседа: всякий соображал голос свой, силу, влияние и происки, с насущными нуждами своими, и это называлось у Сумбурцев наших – выборами. Да как же впрочем и не назвать им это выборами? Ведь так ли, иначе ли, так называемые люди, даже чиновники, избирались во все должности – в исправники, в заседатели, в судьи, в члены, предводители: стало быть, это точно были выборы.

Но как Сумбурцы наши вообще ни над чем не надрывали сил своих, то дворяне на выборы съехались поздно, большею частью накануне срока, а потому и не успели поверить сумм дворянских по отчетам, а подписали какую-то перечневую выписку из книг сплеча и не заглядывая в нее выше того места, где каж-

дому следовало подписать имя и прозвание свое; точно как будто речь шла не о своем, а о чужом добре. Откуда, скажите, берется у нас беззаботность эта? К обедне и молебствию опоздали, а потому и ограничились подписью присяжного листа; потом устранили кое-кого, под разными предлогами, от собрания, чтобы не было спорщиков; там не дали шаров некоторым уполномоченным, предпочитая действовать своей семьей, где каждый друг друга понимает; за губернским столом не стесняли себя баллотировкой одних избранных уже в кандидаты за столами уездными, а избрали тех, кто кому был посподручнее; предводитель, знакомый наш Прибаутка, распоряжался на выборах как в своем домашнем оркестре, где заставляет, бывало, проиграть снова любую штучку: он спорил и уговаривал каждый раз, когда какой-нибудь выбор не соответствовал его желанию или заключенному наперед условию и заставлял перебаллотировать того или другого вновь, против чего одни спорили и горячились, между тем как другие хохотали и разбирали снова шары. В предводители был избран опять он же, При-

баутка.

Все это было хорошо; но надо было выбрать в предводители еще другого кандидата, ожидая от правительства утверждения того или другого. Так как в Сумбуре нашем все делалось иначе, чем во всех губерниях, которых названия находятся в географиях России, то и в этом случае встретилось такое чрезвычайное обстоятельство, что не знаешь, как его и рассказать.

При выборе второго кандидата в предводители белые шары посыпались на голову какого-то отставного корнета. Дальнейшие последствия всего этого окажутся ниже; а теперь перейдем к непосредственным последствиям дворянских съездов, по случаю открывшейся ярмарки.

Давно уже Харитон уговаривал Христиана, самым радушным образом, дать концерт. Ярмарка представила для этого неподобный случай. Прибаутка горячо принялся за это дело: обещал артисту покровительство свое, залу Дворянского Собрания и сверх того брал на себя все расходы на освещение и другие предметы по концерту. Странно было бы Виольда-

муру колебаться или ожидать, чтобы его еще более упрасивали; он согласился, и от решимости этой, ожидания и нетерпения лицо у него вытянулось пальца на три и приняло какое-то вдохновенное выражение. Так он и ходил по городу целую неделю с продолговатым, вдохновенным лицом. Вот он сидит, подомашнему, среди сумбурских приятелей и доброжелателей своих и слушает направо и налево, не успевая поворачивать голову на призывные голоса советников, во все четыре стороны вдруг. Концерту быть, это решено; несколько дней и ночей прошло в толках об устройстве и распорядке его; корректурный лист афиши у артиста в руках, но советники не перестают наделять его со всех сторон советами, неисчерпаемы в эффектных изобретениях и суетолками своими вконец оглушили Виольдамура, у которого от томительного ожидания губы сжались, словно они зашиты и припечатаны. Рядом с ним сидит курчавый друг его, товарищ на жизнь и смерть, Харитон Волков, и горячо, усердно советует обменять взаимно и переставить 1-й и 5-й номера, то есть открыть и начать концерт вокальным

вступлением, которым предполагалось заключить 1-е отделение, а увертюру перенести из начала в конец. Причин на это Волков поставлял много, очень много, но главное заключалось в том, что соловьиный голос Виольдамура должен был пленить и восхитить всех, а затем уже мастерская игра на пяти или шести инструментах, не на всех вдруг однако же, а последовательно и поочередно, довершить окончательно верную победу. С Волковым, которого лицо и приемы напоминают нам несколько отца его, неподражаемого в счете молчков или пауз литавр – с Волковым соглашается по-видимому и гувернер, выписанный Прибауткою для детей его, *monsieur Tricot-de-Coton* {господин Трико де Котон (*фр.*)}; он положил руку на плечо артиста, встряхивает его по временам, чтобы заставить глядеть в эту сторону, и тычет пальцем чуть не в зубы, истощая в мимике этой все красноречие свое, всю силу убеждения. По другую сторону, в оппозиционной партии, стоит, один как перст – один как маков цвет – один как синь порох в глазу – один как солнце на небе – один как леший в болоте – стоит новый

благоприобретенный в Сумбуре друг Виольдамура господин Мокриевич-Хламко-Нагольный, которого мать была урожденная княжна Трухина-Соломкина и даже крестный отец прозывался Пазухин-Гулючка; господин Мокриевич-Хламко-Нагольный, увлекаясь дружбой и доброжелательством и руководствуясь перевесом познания местности, отстаивает прежний порядок концерта, уверяя, что предлагаемая перемена сочтена будет умышленным подлогом и произведет всеобщий ропот. Есть еще два человека в этом заседании, и хотя они занимают крайние оконечности правой и левой стороны, но не могут, по мыслям своим, причесться ни к оппозиции, ни к радикалам, ни к легитимистам, а составляют, кажется, безмолвствующую середку-на-половине; это Аршет и неизвестный. Последний, облокотившись довольно ловко на спинку стула одного из отчаянных радикалов, Волкова, доволен, кажется, положением своим и сигарой, которую отыскал молча в скрипичном футляре, куда благоразумный хозяин с некоторого времени стал прятать сигары от подобных посетителей – доволен и собой, и концер-

том, как бы он ни учредился, доволен и приемами, и гладеньким сюртуком своим, словом, доволен всем на свете, и согласен со всеми, кто бы что ни говорил, и никогда не сердится, ничему не удивляется, ничему не радуется, ни о чем не скучает, ни о чем не тужит и вообще, не приневоливая себя ни к чему, от природы одарен непоколебимым терпением, совершенным равнодушием и преблагою молчаливостью. Случалось ли вам видеть этих людей? Высокий лоб как будто заключает в себе что-нибудь такое – даже морщиночки играют иногда на лбу этом и перебегают, как на тонкой пенке согретого молока – но здесь мнимый закон природы, открытый недогадливым Торичелли, будто бы природа не терпит пустоты, встречает самое убедительное противоречие. Если бы Торичелли сходил на веку своем с подобными людьми, то он и сам не удовольствовался объяснением своим, а поневоле стал бы искать другого. Эти-то счастливы, вроде нашего неизвестного, живут спокойно, спят прекрасно, всегда здоровы, с виду моложавы и доживают до глубокой старости.

Гувернер monsieur Tricot-de-Coton был один из тех гувернеров, которые приезжают морем из Гавра в Питер, осведомляясь дорогою у других пассажиров о том, правда ли, будто в Петербурге солнышко-таки греет и светит понемножку, а во всей остальной России круглый год зима и круглые сутки ночь и люди не знают ни тепла, ни свету, кроме от огня? Решивши подобные сомнения, monsieur Tricot-de-Coton вышел из парохода на Английской Набережной, взяв гарусный дорожный мешок свой с замочком под мышки, и долго оглядывался во все стороны, не зная, куда теперь идти, что начать и где бы сегодня пообедать? Не удивляйтесь тому, что Трико-де-Котон в девять часов утра заботится уже об обеде; это не малодушие; он не робеет и чувствует с достоинством все способности свои; у него надежды впереди много; он готов хоть обучить и поставить собачью комедию и пройти с нею с конца в конец темную Русскую землю; хоть идти в учителя и гувернеры, смотря по тому, на что будет больше требования; но сами посудите: дух бодр, да плоть немощна, и кто не обедал вчера, тот поневоле



сегодня заблаговременно заботится удовлетворить свой злопамятный желудок. Постоявши немного и убедившись, что жареные гуси сами не летают по нашим улицам,- Трико-де-Котон вздохнул и сказал, улыбнувшись: "Точно как у нас: везде самому надо промышлять!" Затем обратился к первому прохожему с вопросом: "Нет ли где вблизи французского магазина?" Прохожий этот отвечал вежливо и на прекрасном французском языке – и через полчаса Трико сидел уже у одного из земляков своих, обещаясь расплатиться с ним зонтиками в тросточках, которые он успел провезти тайно и ожидал со дня на день какими-то темными путями. Впрочем, он предлагал также и женские часы, золотую булавоочку и два перстенька. Надобно думать, что дело так или иначе сладилось: Трико остался на две недели в магазине, приобрел вскоре огромное покровительство и отправился, по первому вызову, с обозом Прибаутки в Сумбур, озарил вечные потемки привозным светом своим, учил детей, ездил на охоту, был веселый собеседник и умел всем угодить и со всяким сойтись.

Мокриевич-Хламко-Нагольный во всех отношениях может быть представителем оппозиционной партии и заключает в себе полную противоположность неизвестного: Нагольный в вечной суете, тревоге, всегда говорит, всегда спорит, вечно противоречит, всем на свете недоволен, обо всем ему забота, за всех он тоскует, словом, все, что только каким-нибудь образом достигало пяти чувств его, все это дурно, гадко, все это не так и не то, и всегда изо всего предвидит он преопасные следствия и боится еще сверх того, чтобы ему не пришлось за все это отвечать. Так он, например, каждый раз, когда молодые люди собираются на охоту или на катанье в лодке, оговаривается торжественно: чур меня – с тем, что если бы один другого невзначай застрелил, или кто-нибудь по неосторожности утонул, то ему, Нагольному, не отвечать бы за это и не понести поклепу или упреку, что он, как благоразумный человек, не старался удержать молодежь от таких бесполезных и опасных затей.

Наконец, обратившись к дверям комнаты, в которой происходят настоящие прения, ви-

дим фактора губернской типографии с новым корректурным листом афиши, из чего и заключаем, что Волков не даром отстаивает с такою решимостью предлагаемую перемену в порядке концерта: Волков распорядился уже наперед самовластно, изменил на свой страх, что и как ему хотелось, а потом пришел убеждать друга своего в необходимости такой перемены. За фактором является еще какой-то любитель музыки, который, по-видимому, также намерен принять участие в заботах виртуоза нашего или, может быть, только заглянуть в келию его, посмотреть, что там делается, и потом отправиться со свежими вестями к Ирине Титовне и Татьяне Юрьевне.

Между тем настал роковой день, и празднично взошло солнце над полным ожидания Сумбуром. Утро перед концертом застало Христиана Христиановича в непривычных и новых для него хлопотах, при которых улыбка удовольствия не сходила с уст его. Он сидит перед вами среди домашней холи и раздолья, но со всеми признаками приближающегося для него и для целого города праздника – и кроит огромными портняжными ножницами

билеты. Афишки на полу, афишки на столе, билеты на полу и в руках и на столе; свеча приготовлена для прикладывания печатей; Аршет, принимая душевное участие во всерадостнейшем событии, также суется и, полагая, может быть, что билеты валяются из-под ножиц невзначай, подбирает их и подает своему барину и, сидя на корточках, приветливо разметаёт пыль на полу мохнатым своим хвостом. Что роковой день настал, это показывают вам все приготовления: завитая голова хозяина, от бровей до затылка; шелковые чулки, галстух, шляпа и перчатки; вычищенный новый фрак, задремавший в самом ленивом положении на стуле, свесив по бокам рукава; еще какая-то принадлежность и лаковые, чуть не дамские, варшавские башмачки. Взглянув наскоро, вам даже покажется, что и рожица Христиана Христиановича с завитками своими поставлена бережно, как неприкосновенная до времени вещь, на тот же комод, образуя таким образом приличный противень щегольской шляпе с перчатками, между тем как распущенный галстух служит как будто бы соединительным звеном для це-

лой картины. Ожидание, надежда, сомнение, а по временам и уверенность в блистательном успехе одушевляют в эту роковую годину торжественное лицо Христиана; а снисходительная улыбка радушного прислужника придает лицу этому приятную мягкость и милость.

Да, много надежд, как видно, роится в голове нашего гения на сегодняшний вечер; не знаем сколько билетов – об афишках и говорить нечего; они стоят денег, но за них не платят, - не знаем сколько билетов пошло уже в раздачу, но видим усердное старание закройщика и огромные запасы в кипах. Если Виольдамур все это обратит в крошку, то ее, конечно, станет на пресыщение целого Сумбура; остается только пожелать ему, чтобы не все это было роздано любителям и покровителям, друзьям и приятелям, чтобы благодушные Сумбурцы, столько радеющие, как мы говорили, о сиротах и бедных, оказали и заезжему сироте существенное покровительство и пособие покупкой билетов за наличные деньги. Это тем более желательно и необходимо, что сирота наш сильно потерпел в по-

следнее время от пожара: у него деньги горели в кармане и в бумажнике каким-то невидимым огнем, вероятно, воспламеняясь на основании законов самостгорания. По крайней мере он сам не понимал, каким образом заветное наследие его, стоившее Ивану Ивановичу стольких хлопот, приходило к концу, а между тем Христиан Христианович только что собирался еще пожить, развернуться и прославиться за границей. Концерт его выручит; это первый концерт: никто не слышал еще нашего гениального артиста в огромной зале, где все – и великолепная местность, убранство, освещение и готовность слушателей восхищаться, и блестящие наряды, и торжественность собрания, и даже наружность художника участвует в общем и несомненном успехе; а если ко всему этому присоединятся обаятельные звуки... о, тогда жребий выпадет; тогда узнают Христиана Христиановича и услышат об нем не в одном Сумбуре. Я очень, очень благодарен другу моему Харитону, подумал Христиан, за то, что он принял такое живое участие в этом деле, что склонил Прибаутку на всякую помощь и содействие

и сам, как благородный художник, взялся участвовать в моем концерте; пусть услышат нас вместе и увидят, какая между нами разница. Харитон играет очень порядочно, ни слова, но в смычке его нет этой души, этой жизни,- в ударе руки нет этой гениальной свободы, силы и мягкости, потому что ни того ни другого нельзя приобрести, а надобно родиться в сорочке. Христиан с внутренним удовольствием посмотрел на длинные, белые, гибкие пальцы свои, на благообразные ногти, сжал и распустил раза три кулак левой руки, сделал на колене продолжительную трель и принялся опять за дело.

Между тем как Христиан Христианович кроил, сидя в завитках, билеты свои и мечтал уже наперед о вечерних успехах, Сумбурцы готовились с своей стороны к торжественному вечеру, всяк по-своему. Например: покровитель концерта, Прибаутка, в упоении от удачи своей на выборах, разослал по городу с десятков мелкой шляхты, чуть не однодворцев, избранных по представительству его в заседатели, депутаты, судьи, поручив каждому из них по полусотне билетов и приказав

стараться всеми силами о раздаче их. Кто не желает угодить своему начальству? Следствия старательной угодливости подчиненных, или по крайней мере людей, облагодетельствованных Прибауткой и чаящих от него многих и разных благ, изображены перед вами в лицах. Великодушного помещика, который не попал в уездные предводители и поклялся целому собранию в глаза, что вперед нога его не будет на выборах, - этого помещика остановили на перепутьи рассыльные Прибаутки, предлагая ему с одной стороны афишку, с другой - целую охапку билетов на выбор. Тот, кому поручена раздача объявлений, сколько можно судить по лицу его, должен быть чиновник не совсем благонадежный; и вот, вероятно, причина, по которой ему билетов не поверили, а пустили на пристяжку к другому, собственно с афишками. Не желающий впредь баллотироваться дворянин, кажется, не в духе и посылает к черту все билеты, концерты и самых разносчиков. Услужливый депутат не оскорбляется такою посылкою и вежливо упрашивает взять хоть одну парочку билетов, ну, хоть в долг, до



предстоящей жатвы; неблагонадежный чиновник считал в это время наизусть по пальцам, сколько штук будет разыграно, прибавляя из усердия от себя за каждым номером одну арию и одну увертюру.

Самый длинный из всех вновь избранных заседателей, принарядившись по случаю такого лестного поручения и доверенности Прибаутки, стал на перекрестке, разведя руки крестом, остановил почтенную мать семейства с двумя дочерьми и, сказав: "смею ли, сударыня, прислужиться – отличный концерт, и билетов не много осталось, все разобраны", – предлагает по пачке в той и другой руке. Мать, по-видимому, находит этот способ предложения услуг не совсем приятным, глядит довольно сурово и занесла уже руку свою, чтобы отодвинуть без околичностей руку навязчивого щеголя и очистить себе и семейству своему таким образом дорогу. Впрочем, может быть, она ловким движением руки надеется повернуть крест на этой надолбе и пройти свободно, как привыкла делать на прогулках в городском саду, по дорожке к знаменитому храму славы. Дочери не смеют, ка-

жется, обнаружить вслух своих надежд и желаний, но одна обратила томный, умоляющий взор на грозное лицо матери, другая с приятной улыбкой удовольствия рассматривает поднесенные билеты: "Там будут все - как же нам не быть?"

Если в рассмотренных нами двух купях удачи и поживы разносчикам билетов будет не много, то в третьей, поодаль от первых, успех кажется вернее: там какой-то усердный зубоскал взялся за дело очень просто и сует билеты проходим в карманы. Конечно, при этом еще политико-экономической вопрос: о сборе недоимков, - не разрешается; но по крайней мере одна половина задачи решена, билеты будут розданы. Не удивляйтесь, доброхотные читатели, такому свободному, короткому, приятельскому обращению Сумбурцев между собою: в Сумбуре процветают еще патриархальные обычаи, все жители его свыклись между собою и пообтерли друг о друга локти; тут все свои.

Между тем, улица перед домом Дворянского Собраниа была выметена; наряд двух конных жандармов сделан, и для *порядку* назна-

чен самый благовидный из трех сумбурских частных приставов, а при нем, собственно для *наружного* порядку – как выражался полицеймейстер – еще один кварталный. Последний явился за приказаниями к распорядителю празднества, дворянскому предводителю, объяснил разные предположения свои насчет этого наружного порядку, уверял его в усердии своем и исправности, божился, что пришел натошак и до окончания концерта ничего в рот не возьмет, и жаловался только на конных помощников своих, которые-де кроме своего начальства никого знать не хотят и даже не уважают приказания кварталного, притворяясь обыкновенно, будто сидят так высоко на лошадях своих, что и не слышат, о чем ему толкуешь, а подбоченятся и отворотив нос глядят спокойно в другую сторону.

Дом Собрания был вычищен и вылощен, стулья заняты в целом городе у обывателей, а перед так называемыми хорами, для музыкантов, устроено особое возвышение для концертиста. Оркестр принадлежал Прибаутке, и хотя, как поговаривали в Сумбуре, несколько

рассохся в продолжении прошедших неурожаев, но вместе с прошлогоднею обильною жатвою, вследствие которой и выписан был, как мы видим, капельмейстер Харитон Волков, оркестр этот стал поправляться. Когда Волков собрал подчиненных своих в первый раз в поместьях Прибаутки, который сам вздумал сделать инспекторский смотр своей музыке, то говорят, будто из контрбаса, по первому удару смычка, выпорхнул воробей, а потом и другой – и стали летать по комнате и чирикать; остальные ж шесть воробушков не могли вылететь, потому что еще не оперились. Контрбас, видите, пролежал на чердаке во все время неурожаев, и воробьи в нем свили гнездо. Уверяют также, что в одном из духовых инструментов отыскано было мышинное гнездо. А сам Харитон Волков рассказал втихомолку другу своему, что духовая музыка Прибаутки, флейты, кларнеты, валторны и фаготы осыпали присутствовавших на первом опыте перьями, пухом, пылью и паутиной и что этою постороннею принадлежностью заволокло божий свет, а затем последовало всеобщее чиханье и взаимное пожела-

ние здоровья. Но Харитон принялся очень усердно за устройство новой команды своей, забрил затылки всем тем, у коих от какого-то природного недостатку каждая нота на духовых инструментах выходила полутонном выше или ниже, исключил также отличного некогда скрыпача, у которого отчего-то руки дрожали до того, что он не мог более попасть смычком куда ему хотелось,- заменил брак этот молодыми парнями, на выбор, и как русский человек безотговорочно делается флейтщиком, коли ему велят играть на флейте, скрыпачем, коли велят быть скрыпачем, плотником, столяром, портным, стекольщиком – если прикажут быть мастеровым, то Харитон Волков и набрал в самое короткое время полный числом оркестр, приказал встрясти из инструментов пух, перья, паутину, воробьиные и мышьиные гнезда, и дело было в порядке.

Но время в Сумбуре бежит скоро, особенно в такую годину, когда все в хлопотах, в заботах; оно тогда только тянулось медленно и лениво, когда на Сумбурцев находила холера, скука, то есть, когда в городе внезапно недо-

ставало карт, а почталион, которому со стороны местного начальства было поручено привезти несколько дюжин колод из Москвы, ожидался по ходу почты не прежде четверга, к трем часам пополудни. В такое отчаянное время припоминали Сумбурцы необыкновенные случаи виста, преферанса и бостона, случаи, встречавшиеся тогда, когда Сумбурцы жили в изобилии и среди исполнения благотворительных обязанностей своих не встречали никаких препятствий; стоило только закричать: "Человек: стол и карты!" и все было готово. В глухую пору описанного выше недостатка жили они воспоминаниями и, утешая друг друга теплой надеждой на будущее, говорили: "Что, брат, плохо? струменту нет? погоди, вот в четверг сядем за аматёрскую, удвоим куш, и уж натешимся! А помнишь ли ты, злодей, королем срезал дамочку мою, а? о злокозненный, злокачественный, подвел, как пить дал подвел!"

Но я хотел было только сказать, что время обыкновенно летело скоро в Сумбуре и роковой день настал, прежде чем рассыльные наши успели раздать доверенные каждому из

них билеты. Как быть? Прибаутка взялся раз быть покровителем концерта, жертвует с своей стороны сумму на освещение и другие расходы – надобно постоять за себя и показать выручку, достойную такого высокого покровительства. Для этого немедленно приняты были в состав ходящих или разносчиков *любители*, народ ретивый и готовый на все, лишь бы только показать, до какой степени жертвуют они собою для славы и чести одушевляющего их искусства. К числу этой западной силы принадлежал и грозный муж, который в исступлении своею левою рукою предлагает билеты, а правою приставил пистолет в упор к груди отставного майора. Бедный старик, покинув часть своего острова под Бородиным, или Малым Ярославцем, сколько ни пялит глаз своих от изумления и страху, не замечает однако же, по-видимому, в каком безнадежном положении грозное орудие испуганного любителя музыки. А если бы отчаянный поборник концерта всадил бедному старику ни с того ни с сего пулю в лоб, то этот мог бы рассказать на том свете, что битва на улицах Сумбура за билеты была очень жарка.

Но кто же любитель этот, решившийся на такое крайнее средство, противное всем правам человечества, полицейскому уложению и даже здравому смыслу? Это, почтенные читатели, человек, у которого последнего-то и недостает вовсе; это сумбурский поборник наук, искусств и художеств, который только в прохладные дни позволяет шутить над собой и преподает, как мы сказывали, в это время все науки комком, предоставляя понятливым ученикам своим разматывать клубок этот, подбирать обрывки ниток и связывать, что куда следует; в жаркий июльский день, как сегодня например, жена обыкновенно запирает его в чулан и ставит ему есть, когда он засыпает. Это сумасшедший бакалавр. Итак, немудрено, что он, ушедши как-то из-под опеки бедной хозяйки своей и попавши в шайку любителей, взялся за дело с таким усердием, что, закусив губу, грозит положить на месте отставного майора, если этот не возьмет билета. Обстоятельство это по себе не важно и последствий никаких не имело; но мы не хотели упустить случая познакомить читателя лицом к лицу с сумбурским ученым и учите-



лем (в прохладные дни) всех наук.

Но между тем, как мы с вами взглянули на то, что делается в улицах Сумбура, как идут концертные билеты и как за них страждет человечество, вечер настал и съезд начался. В такую торжественную минуту Сумбур наш почти походил на столицу, а крику, шуму и стуку было едва ли не больше, чем на съезде к Александринскому театру. В столице при подобных съездах все равны, очередь дает порядок; я не знаю, чья карета едет впереди меня, чья позади, да и знать этого не хочу; в Сумбуре, напротив, кучера и выносные были приучены смолоду к должному чинопочтанию; приучены не пускать вперед того, кто меньше по чину или месту и не дожидаться у подъезду, покуда одно семейство выйдет из кареты — если только сзади наезжал старший, — а гнать и давить всех без остановки. Вот почему и раздавались у подъезда непрерывные крики и ругательства: "Пошел прочь, ты, чего стоишь! Проезжай, ты, проезжай! не видишь, что ли, чья коляска?" и прочее. Нередко, коли голос кучера и лакея не помогал, сами господа вмешивались в этот разго-

вор, что еще более разнообразило беседу у подъезда.

Зала освещена, слушатели собираются; блеск, наряды, шали, прически, шляпки, блонды, серьги, подвески, чепцы – все снесено было на этот вечер в одно место, в залу Благородного Собрания, которой немые стены уже столько раз на веку своем были немymi свидетелями бесконечного блеску, щегольства и роскоши в нарядах сумбурских барынь. Помещики всей губернии, по случаю ярмарки, съехались в Сумбур и волею-неволею явились на концерт с фамилиею и семейством. Фамилия означает там собственно супругу, и вот почему один заезжий на чужбину Сумбурец на лаконический вопрос генерал-губернатора: "Фамилия ваша?" – отвечал простодушно: "Осталась в Сумбуре, ваше сиятельство". Чиновники большею частью брали билеты в долг, а купцы за наличные деньги. Зала наполнялась, служитель порядка стоял на своем месте, у боковых дверей, впереди слушателей, а концертиста нет: видно, немного замешкался; вот, вот идет.- "Начинайте с богом,- сказал Прибаутка,- играйте

что-нибудь; ведь и моих музыкантов можно послушать". Волков подумал – и скомандовал сверхштатную увертюру, чтобы занять слушателей до приезда Виольдамура. Оркестр Прибаутки настроил скрышки, потер смычки канифолью; Харитон Волков вышел, подал знак – увертюра шумно раздалась; Харитон зачастил рукою, удары волшебного жезла посыпались чаще и чаще, голова кивала, носок левой ноги слегка следовал этому движению, пальцы свободной руки также; отрывисто черкнули смычки в последний раз по всем струнам, и увертюра кончена. Виольдамуру давно выходить на свой амвон, пора запевать на удивление людей чудесную арию, которая поставлена была, настоянием Волкова, во главу концерта.

Но бедный Виольдамур был в эту минуту в самом жалком положении. Разодевшись в пух, как следует светскому артисту, знающему долг свой, он сидел еще дома, в шелковых чулочках и дамских башмачках, и ждал, чтобы покровитель его, Прибаутка, прислал за ним свою карету. Так обещал Прибаутка и думал сдержать слово, но вышло иначе: он за-

хлопотался, забыл, что концертист ждет кареты его, и, сидя как на жаровне, вертелся и беспокоился о том, что Христиана еще нет.

Между тем Христиан, прождав до последней возможности и взглянув с отчаянием на часы, должен был отправиться на концерт пешком, и еще бегом да вприпрыжку, чтобы не опоздать. Вечер был прохладный, воздух сыроват, а виртуоз, одетый щегольски нараспашку, в коротких панталонах, выскочил и побежал впопыхах без плаща. Ноги, по самые колени, ему так и обдало холодом и сыростью; но он не обращал на это внимания, а спешил в концерт.

Прибежав с разгоревшимся лицом и с холодными ногами, Виольдамур как только вошел в теплую, ярко освещенную залу, чихнул – ступил шаг и чихнул снова; утер лицо платком и стал искать глазами Волкова – и опять чихнул трижды сряду и не мог ни шагнуть, ни ступить, ни оглянуться, чтобы не чихнуть; глаза заплыли слезой, нос залег, горло зудело – словом, шелковые чулочки в прохладный вечерок дорого стали бедному Христиану; он хотел что-то сказать и чихнул сно-

ва; тут на беду еще поднесли ему понюхать какого-то губернского косметик, от которого и здоровый нос, может быть, зачихался бы до обмороку; а вслед затем кто-то, думая пособить горю, поднес концертисту табаку, уверяя, что насморк от этого пройдет. Виольдамур, вошедши в это время на помост музыкантов, между тем как Волков стоял в томительном напряжении впереди и ожидал знака, чтобы ударить смычком – бедный Виольдамур чихнул так, что едва устоял на ногах и махнул рукой, в которой держал платок выше головы своей; Харитон Волков принял это за условный знак начать увертюру, – ударил жезлом своим по партитуре – и шумный оркестр ударил в смычки; заревели басы, залились скрипки, флейты и кларнеты – и не успел еще Виольдамур наш опомниться, как увертюра кончилась, а ему пора, и крайне пора запевать свою арию.

Если десятка два или три различных музыкальных снарядов на разладе заглушали досель многократное а-чхи! несчастного виртуоза, то он, напротив, лишася внезапно этой защиты и покровительства, вслед за оконча-

нием увертюры, при всеобщей тишине и ожидании, разразился снова в глубине оркестра исполинским а-а-чхи! в полное всеуслышание. Зрители и слушатели на этот раз приветствовали такое неожиданное заключение увертюры громким хохотом; губернатор поморщился, а Прибаутка в каких-то суетах, глупо улыбаясь, пялил глаза, стараясь проникнуть сквозь густую толпу музыкантов своих до самого чихателя, стоявшего еще позади оркестра.

Но Христиану деваться некуда, люди съехались и ждут, надо выходить и запевать браурную арию. Скрепив сердце он вышел, поклонился и вместе с поклоном опять грянул, как из карманного пистолета чхи! так, что, по-близости публики, этим ударом нагнал страх на первые ряды кресел. Харитон Волков, желая заглушить эти неуместные междометия и вывести артиста из томительного положения, поднял волшебный жезл свой, оркестр опять ударил в смычки, и коротенькое вступление в арию было кончено прежде, чем певец успел выхватить снова платок из кармана. Чхи – и – чхи, чхи – только и слыша-

ло собравшееся общество, как будто в этих носовых и гортанных звуках заключалась вся ария несчастного певца и будто город собрался только послушать, как он мастерски чихает.

"Это, однако же, ни на что не похоже",- сказал губернатор сидевшему за ним Прибаутке; а Прибаутка ни жив ни мертв и сам не знал, какое прибрать извинение и оправдание, и проклинал всю затею, которую ни за что ни про что взял на свою лысую голову. Прокурорская теща, сидевшая подле губернатора, в первом ряду, моргала усиками и забавно шевелила бородкой, которую судьба ее наделила; некоторые дамы, сидевшие в самой середине, в первом ряду, считали не излишним прибегнуть для большей безопасности к защите вееров своих и платочков. Господин Неизвестный стоял преспокойно среди суматохи этой и, казалось, не принимал в ней никакого участия; он ожидал только конца, чтобы распить, по обету, дюжину шампанского у Виольдамура – и того же мнения, кажется, самый длинный из всех заседателей, раздававший с таким усердием билеты; он стоит за

Неизвестным и не без удовольствия улыбается. Тут же видите вы француза, неблагонадежного чиновника и товарища его – а если угодно взглянуть под Харитона Волкова, то также узнаете того, который рассовывал билеты по карманам. Но между тем короткая песнь эта – чих да чих – показалась многим слишком долгою; раздался по зале шепот и жужжание, потом говор, наконец и хохот – толпа тут и там зашевелилась, в дверях показалось движение, один за другим выходили, и в передней, при растворенных в залу дверях, раздавался уже громкий хохот, крик, шум, насмешки и весьма не лестные для виртуоза возгласы. Бедный Виольдамур потерялся, выбился из сил и из ума – быстро обратился назад и, чихнув снова, полетел было кубарем со ступенек своего помоста, без памяти очутился позади оркестра, объявил отчаянным голосом, что не может ни петь, ни играть – и Харитон Волков принужден был выйти вперед и объявить томным голосом, что друг его внезапно захворал и продолжать концерта не в состоянии. Слушатели зашумели, прохлопали одобрительно в ладоши, кричали фора и дви-



нулись из зала, один только бесстрастный служитель порядка выстоял до конца в бес-  
сменном должностном положении своем у  
выхода и на сотни вопросов: что это значит?  
что такое? что с ним случилось? на вопросы  
эти, которые сыпались на всякого и со всех  
сторон,- был только один, короткий, но выра-  
зительный ответ, раздавшийся из отдаленно-  
го угла зала, позади оркестра, а именно, отча-  
янное а-а-чхи! несчастного концертиста, на  
которого напала неодолимая чихалка.

-- В какое положение поставил меня со-  
рванец твой,- напустился Прибаутка на Хари-  
тона Волкова, своего капельмейстера:- В ка-  
кое положение поставил он меня перед обще-  
ством, но что мне общество, светил бы мне  
ясен месяц; я по звездам колом бью; в какое  
положение, говорю, поставил он меня, су-  
дарь, перед *самим* его превосходительством,  
перед многоуважаемым нами губернатором!  
Это тово – это просто ни на что не похоже, это  
из рук вон, то есть, эта прибаутка никуда не  
годится... С моим удовольствием проиграл бы  
я двенадцать роберов сряду: по крайней мере  
это бы никому не было обидно, это не предо-

судительное дело,- а это что? это какова прибаутка? а?

— Да вы ведь сами этому виноваты,- начал Волков, заступаясь великодушно за товарища своего:- Помилуйте, вы обещались прислать за ним карету: я ничего об этом не знал и спокойно занялся оркестром, вы позабыли, покинули его, и он должен был бежать почти босиком, с другого конца города; вы знаете, Степан Степанович, что он живет у Клячевых; тут немудрено простудиться и прибежать с насморком...

— Непростительно, сударь, говорю я вам: непростительно, и нет никаких отговорок; должно иметь уважение к такой высокой особе... А вы, вы что? Вы за него же заступаетесь, вы – а? Это что за прибаутка? Вы, сударь, мой хлеб едите, без попреку вам будь сказано; да, мой хлеб едите, а гнете на чужую сторону; продать, что ли, вы меня хотите?

Харитон вспыхнул, разгорячился и наговорил покровителю своему то, чего и сам после не помнил и чего тот, к счастью, наполовину не расслышал и не разобрал, потому что сам был вне себя, старался перекричать его, и на-

конец, хлопнув за собою дверь, Харитон остался на чужом пиру с похмелья, сам не понимая, что с ним случилось и что ему теперь делать.

Надобно знать, что губернатор, при отъезде из собрания, когда Прибаутка провожал его будто из своего дома, сказал ему шутя – но при посторонних людях: "Должно, однако же, признаться, Степан Степанович, что вы мастерски умеете устроить все, за что ни возьметесь!" Прибаутка был в совершенном отчаянии; этого он проглотить не мог – так вот и стало поперек горла. Прибаутка был суетлив только от желания услужить всякому, сделать всем угодное, а неосторожное выражение относительно месяца и звезд могло сорваться у него с языка разве только в такую отчаянную минуту. Он был криклив и очень храбр – как истинно доблестный муж – только в чистом поле, то есть на заячьей травле; впрочем же, хотя язык у него и разгуливал не на привязи, а на свободе, но он говорил всегда только приятное другим, особенно начальству, и даже нередко, в присутствии очень уважаемых особ, изъяснялся не

иначе – как шепотом. Такая была у него счастливая натура, как он выражался, и поэтому легко можно себе представить, сколько беспокоила его неудача концерта, в каком разладе несчастье это было со счастливою его натурой!

Сумбурцы и сами по себе, по телосложению своему, были довольно склонны к негодованию, и, уподобляясь некоторым образом знаменитой породе птиц, которая, если верить народному преданию, удостоилась чести попадать иногда во французские супы 1812 года, Сумбурцы наши, говорю, охотнее всего заклевывали лежачего, кого судьба или беда уже свалила с ног; поэтому немудрено, что они ужасались с большим усердием и наперехват рассказывали в этот вечер и на другой день тьму предосудительных подробностей о житье-бытье бедного Христиана. Откуда ж эти вести явились в такой скорости и каким образом разразились они над человеком, о котором до этого говорили одно только добро, которым не могли натешиться, нарадоваться и надивиться? Откуда вести эти, спросите вы? Мудрено, доброхотные читатели, по-

казать вам все это документально и фундаментально; позорный временник Сумбура составлялся как-то сам собою, изредка только заметны были чьи-нибудь особенные труды – и сочинители из скромности не выставляли под статьями своих имен. Изустный листок этот летал скорее голубиной почтой, из двери в дверь, из окна в окно – возвращался по несколько раз к хозяину своему с приписью, отметками и пояснениями – и горе смертному, над которым эта стая знаменитой породы пернатых единогласно прокаркает столь приятный и всем знакомый припев свой – тут хоть смейся, хоть плачь, хоть сердись, хоть оправдывайся, хоть, пожалуй, по носу ударь щелчком наянливую вещунью, все одно; будь благонадежен, ты у них в дураках. Тут речь не о том, виноват ли ты, не виноват; что им до твоей вины!- вот, например, подвижная копна, Клячев, хозяин дома, где живет Виольдамур: просто вор и мошенник – если не разбойник; вы услышите иногда в Сумбуре, что это постыдное дело, за которое-де бог и государь когда-нибудь накажут; но этим все оканчивается, и Клячеву отворены все ворота и двери,

его встречают с улыбкою, подают ему руку, ожидают в один и тот же вечер в трех домах на вист. Заглазно скажут иногда словцо другое не в пользу его,- кто-нибудь заметит, что это уже дело *известное* и об этом толковать нечего, это не *новость*, но житью-бытью Клячева это не вредит, он все тот же, и шумных разговоров, жарких прений об нем в городе не бывает. А если, боже упаси, молодой человек не пойдет прямо и без оглядки в брачные тенета, обнюхает их сперва и выйдет лицом к лицу на загонщиков или в крайности пойдет на пролом и изорвет снасти – если затронет, в случае, смешную и слабую сторону Сумбурцев, назовет глупость, пошлость и подлость так, как она тут напечатана; если по вине или без вины своей оступится на скользком, лощеном паркете условных светских приличий и сумбурских обычаев – тогда кончено все; за ауканьем и гагаканьем голосу не услышишь: ни чужого ни своего – и Клячев, в сравнении с вами, выйдет праведник.

В отчаянном расположении Христиан прибежал домой; он приветствовал на этом перепутьи объезжающие его дрожки и коляски

резким и звучным а-чи! и этим же самым восклицанием вызвал испитого, сонного Сеньку своего из-за перегородки, куда этот забрался было всхрапнуть заблаговременно, надеясь на продолжительное отсутствие своего барина. Не удивляйтесь, мимоходом сказать, питейным качествам наемного наперсника Виольдамура: в губерниях у нас нет других; все барские отпущенники либо оброчники, и все это радеет свыше средств и способов своих более о питии, чем о яствах. Последнее не уйдет; известно, что у нас в России никто не просиживал и одного дня без хлеба; об нем, стало быть, и заботиться нечего, а все старание, все заботы обращаются на питейное.

Виольдамур прогнал ненавистного ему – особенно в эту минуту – домочадца: Сенька спокойно удалился в переднюю за перегородку и, не говоря ни слова, начал там сопеть, вздыхать, зевать и сморкаться более чем вслух. Виольдамур сорвал с себя шинель, фрак, галстух – все, все и разбросал по всему полу; ноты, попавшиеся ему под руку, изорвал и сел в самом жалком, несчастном виде, с причесанной головой своей и в глазетовых

перчатках. Аршет его не утешал, а нечаянный взгляд на корзину с шампанским, приготовленным еще в счастливые часы надежд на блистательный успех концерта, который предполагалось запить в шумном, дружеском кругу – один взгляд на корзину эту обдавал его варом и разливал его горячую желчь по всем жилам.

Между тем, однако же, добрые приятели, принимавшие столько участия в устройстве этого вечера и в раздаче билетов, никак не думали, чтобы приглашение выпить стакан шампанского после концерта могло быть отменено; они знали, что вино уже приготовлено, и полагали, что распить бутылки с горя будет не менее основательно, как сделать это с радости. Они явились подлинно, проведать, как объяснялись, больного. Не пришел один только Волков; он был сердит на неудачу, на сомнительное положение, в котором поставил себя относительно Прибаутки, и подумал наконец, сделавшись хладнокровнее: "Чёрт мне навязал этого сумасбродного немца и с чихалкой его! Я давно уже замечаю, что он зазнается: вот ему поделом и наука; да я-то за



что попался?"

Вошел к нашему концертисту француз – и рассыпался в сожалениях, в пожеланиях, соболезнованиях, и то и дело суесловил на этом лощеном языке; хлопал от участия руками и утешал немого артиста кучей анекдотов, подобранных к этому случаю. Христиан молчал и ничего не слышал. Вошел Мокриевич-Хламко-Нагольный и истощал все красноречие свое в неукротимом порыве души и потоке слов, желая только доказать, что он все это предвидел, предугадывал, предчувствовал. Больше он не заботился ни о чем; он пришел только, чтобы воспеть самым вдохновенным образом прозорливость свою, вернее чувство, которое предвкусывает всякую беду. Вошел господин Неизвестный и обратил молча внимание свое на беспорядок в комнате, он поднял шинель Христиана, встряхнул ее и повесил, поднял фрак и спросил: "У кого вы брали пуговицы?" – а не получив никакого ответа, положил его на стул и принялся не торопясь прибирать все остальное. Полагая, что он за такую услугу может наградить себя чем-нибудь, Неизвестный отправился молча к знако-

тому ему скрипичному футляру, нашел чего искал и, закурив сигарку, сел преспокойно в угол; поднял нос, уставил глаза в потолок и сделался весьма доволен своим положением. Для перемены обращал он безмятежные, нескорбящие и не желающие взоры свои довольно хладнокровно на корзину с шампанским. Вошли наконец и другие приятели – а Христиан глядел и не видел, сидел полураздетый, со спущенными чулками, уставив дикий взор свой на колени.

Между тем разговор гостей становился постепенно громче и шумнее; утешения вроде следующего: "Э, что, братец, плюнь, дери их горой!" – сыпались со всех сторон, требования забыть прошлое и повеселиться делались настоятельнее, наконец, француз решился принять на себя должность хозяина и выручить его из дураков: француз принялся раскупоривать шампанское. Неизвестный, казалось, только этого и ждал; в ту минуту явился он на помощь и, не говоря ни слова, принялся привычною рукою обивать смолу и снимать проволоку со всех бутылок. Выпили за здоровье хозяина, принудили его, хотя и не без труда,

отвечать тем же, и если Христиан не скоро решился выпить первый стакан, то тем скорее и охотнее приступал к следующим. Наконец он пропел и разыграл приятелям весь концерт свой, потом уже сам не помнил, каким образом проводил их и как улегся на кровать; а когда Сенька, проснувшись за перегородкой своей от внезапной тишины, стал перебирать и прикидывать на свет поочередно все бутылки, сколько их было на столе и под столом, то плюнул наконец и сказал сильным, сонным басом: "Экие водопьяницы: хоть бы каплю где оставили!"

Приятели Христиана все дошли домой на своих ногах, но в различном расположении духа: француз вошел припеваючи во флигелек свой, где жил вместе с Волковым, разбудил его и убаюкал снова своими пошлыми рассказами; Хламко-Нагольный долго оборонялся на улице от собак, раздражил их до того, что они, заливаясь отчаянным лаем, вызвали к себе на подмогу всех собратьев своих из целого города; Мокриевич начал стучать изо всех сил в ближайшие зеленые ставеньки и звать на помощь, напугал хозяев, разбра-

нился с кучером, который вышел из ворот, а потом он долго еще бушевал под окнами, рассуждая про себя вслух. Неизвестный остался верен себе, непоколебим в самодовольном молчании своем и дышал только тяжелее обыкновенного; из прочих же собеседников один, пришедши домой, прибил своего человека, другой сделался чрезвычайно недоволен квартирой своей, непременно хотел лезть рассчитывать с хозяином, не забудьте, что время было далеко за полночь, и настойчиво посылал Ваську отыскивать другое жилье.

Христиан видел какой-то тяжелый сон: огромная освещенная зала, тьма слушателей; он старательно и с каким-то необыкновенным усилием играет на скрипке, а между тем его теснит сбоку несносный турецкий барабан, в который колотит отец Волкова; стук под самое ухо нестерпимый, да сверх того барабан нажимает Виольдамура все ближе да сильнее, не дает ему свободы для правого локтя, и наконец Волков, стуча с каким-то шаманским остервенением без ладу и меры, промахнулся кистенем и ударил Виольдаму-

ра со всего размаху прямо в живот... Весь в поту просыпается бедняк, насилу перевел дух и видит, что у него на животе лежит довольно толстая нотная книга, а перед ним с протянутыми к полочке над кроватью руками и с какой-то пошлой рожей стоит Семен. Семену понадобился очень кстати и притом среди белого дня подсвечник, стоявший в числе разных принадлежностей на этой полке; Семен полез за ним, начал рыться и уронил наконец творение Моцарта в толстом кожаном переплете на спящего барина своего.

Позвольте, любознательные читатели, по этому поводу маленькое отступление. Каким образом случается так часто, что какой-нибудь шум, стук, от которого мы внезапно просыпаемся, до такой степени вяжется с длинным и обстоятельным сном, будто стук этот был подготовлен и приноровлен именно к тому мгновению, когда грезы ваши дошли до самой развязки? Как объяснить, например, целый сон Виольдамура, будто составленный только для того, чтобы приноровить к нему во сне то, что Сеньке заблагорассудилось сделать наяву, хоть и с похмелья, и каким обра-

зом удар палкою во сне пришелся в одно и то же мгновение с ударом наяву?

Христиан едва мог опомниться и глядел на Семена во все глаза в каком-то недоумении, а Семен принял книгу и глядел очень глупо исподлобья на барина.- "Который час?" – спросил этот. "Одиннадцатый, сударь".

Виольдамур встал, начал припоминать вчерашнее, решительно не знал, куда от тоски деваться, и наконец вспомнил, что у него сегодня урок – и еще какой урок! – оделся и пошел с тем, чтобы зайти также к Волкову, с которым расстался вчера вечером на подмостках оркестра.

Пошел и со стесненным сердцем взялся за ручку той самой двери, к которой никогда не мог подойти без особенного бою сердца, без страха или надежды, сомнения или уверенности. Отворяет дверь – говорят, нет дома. "Как? – подумал он.- Настеньки Травянкиной нет дома, когда я прихожу в урочный час, когда, бывало, меня не дождутся и в окне уже встречает художника, кивая, кругленькая головка? Отчего же это случается именно сегодня – в первый раз со времени начала уро-

ков – сегодня, когда мне дружеское участие ее так необходимо, когда один взгляд, одно словечко могло бы... – может быть скоро будут?" – спросил он огромного верзилу, который стоял перед ним заставой, ухватившись одной рукой за полурастворенную дверь, а другую за косяк. "Не могу знать,- отвечал тот. – Ничего не сказали".

Виольдамур пошел повесив нос, то нежно задумываясь, то вспыхивая негодованием... смотрит вперед – так, это она: она идет с матерью, точно она, вот и казачок за нею! Прибавив шагу, Христиан в одну минуту нагоняет предмет своих мучений и, кланяясь вежливо, не в силах скрыть недоумения своего и беспокойства. Но посмотрели бы вы на него в ту минуту, когда он, надеясь встретить веселенькое и благосклонное приветствие, которого он ждал как глотка воды, остановился в испуге, как истукан, против столь знакомого и милого ему личика, которое приняло невиданное досель выражение! Настенька или не узнает его, или с трудом припоминает, что где-то и когда-то видела, или, наконец, это вовсе не она; глаза прищурились, губки вздер-

нулись – она взглянула вполоборота и сделала какое-то движение рукой, будто опасалась навязчивой близости своего прежнего друга; маменька улыбается на все это одобрительно и продолжает путь, приняв несколько в сторону от другого, не менее навязчивого прохожего, который забежал навстречу и, вспоминая, как его, бывало, кормили за чаем кренделями, присел на плитняк служить и сидит смирно, как надолба. Бедный Христиан стал в тупик и одурел окончательно: он не сумел надеть шляпы своей на голову, а простояв несколько минут неподвижно в таком положении, как захватил его врасплох ледяной взгляд Настеньки, ударил себя раза два прене ловко шляпой по голове, посмотрел на нее как на странную и непонятную для него вещь и наконец воротился домой. Ни к Волкову, никуда не хотел он идти, никого не хотел он видеть; Аршет ему надоедал, Сенька надоедал, Волков был несносен, и всему бы Сумбуру провалиться в тартарары и век не бывать в помине!

Новость о решительном падении Виольдамура, об угрызении совести, которая мучит



его теперь и, вероятно, вскоре бросит на одр болезни, новость эта, с различной приправой, была в ходу целую неделю. Он был уже лишний человек в Сумбуре; в нем никто не нуждался, он был даже в тягость городу, и все удивлялись, зачем он приехал, зачем его сюда некстати принесло? Но в течении недели все разговоры об этом предмете приелись Сумбурцам; души этих мыслящих людей искали другой и новой пищи – словом, начинали спрашивать друг у друга, нет ли новых новостей? – Есть они, есть, когда же, добрые Сумбурцы, вы проживали две недели сряду без новостей; тут надо бы пропасть со скуки. Да, с первой почтой после несчастного концерта привезены были в благостынный Сумбур новости важные, которые в одну минуту вытеснили прежний пустой разговор о каком-то заезжем скоморохе. Бог с ним, чтобы не сказать хуже: теперь не до него!

Мы объяснили уже читателю, каким образом дворянство, съехавшись зимою на выборы, признало Степана Степановича достойнейшим дворянином во всей губернии и вследствие этого определило продлить бла-

гие дни существования его главою всего сумбурского дворянства, упомянули также, что частью причиной, а частью следствием этого обстоятельства были хозяйственные распоряжения Прибаутки, который выписал и вина и капельмейстера, и повара; сказали также, что во вторые кандидаты избран был нечаянно отставной корнет, человек весьма угодливый, который уже привык служить средством для чужой цели, а сам не любил ничего выдумывать: это его обременяло. Между тем, однако же, выбор этот многим казался очень смешным.

И вот какое известие привезла субботняя почта в Сумбур: утвержден предводителем дворянства не Степан Степанович, а жертвовавший собою для общего блага. Многие любопытствовали узнать, что же де теперь станет делать Степан Степанович?

А вот что: если бы у него были волосы на темени, он бы их, я полагаю, выдрал, теперь же он ограничился тем, что нахлопал и нашлапал лысину свою ладонью докрасна. Человек этот по какой-то внутренней побудке в изъявлении печали, горя, отчаяния следовал

всегда примеру большей части диких островитян, вымещающих все это кровавым знаком на теле своем. Потеряв сына, Прибаутка исцарапал щеки свои до крови: так скорбел он о потере; когда у него сторел овин и несколько кладей хлеба, то он искалечил было себя, ударившись головою в стену; к счастью, однако же, он дал оскользнуть, расплющил только об стену нос, и доктор говорил тогда, что кровоупускание это чрезвычайно ему было полезно, даже необходимо, и что это-де натура сама себе пособила. Доктор часто ставил случай этот в пример, каким образом природа сама иногда лучше врача знает, что ей нужно.

Итак, Прибаутка нахлопал лысину свою и, убедившись, что горю пособить на этот раз нельзя, решился уничтожить немедленно все роскошные затеи свои, в которых не видел теперь ни малейшей пользы. Он будет отныне жить тихо, уединенно, в семейном кругу, среди сельских занятий, и уверял, что теперь только почувствовал вполне, сколько он ненавидит *коварный свет* и все мишурные *прибаутки* его и как он склонен, напротив, к

тихой сельской жизни. Итак, погреба и подвалы на замок; дом в городе отдан внаймы откупщику; музыка отправилась опять на чердак, где воробьи и мыши крайне обрадовались старым приятелям своим, а выписной повар, капельмейстер и француз уволены на подножный корм. А гувернер-то за что, спросите вы: каким образом он, или, лучше сказать, дети, могли попасть под общую статью опалы? Да чтоб глаза не мозолил: детей же, говорит Степан Степанович, "я буду готовить не туда". А куда же?

Харитона Емельяновича Волкова как гром оглушило; побыл на месте без году неделю – и ни с того, ни с сего в отставку. Что он скажет старику своему? "А всему виноват Виольдамур,- подумал Харитон,- его несчастный концерт все перевернул вверх дном, и я со Степаном Степановичем повздорил. Вот как-вы ныне приятели-друзья, за которых не щадишь себя, жертвуешь собой... они же тебя и губят! Кто бы мог подумать, что Виольдамур будет причиною моего бедствия!!"

Между тем все это происходило в городе, Христиан сидел в стенах своих, ничего не

знал и знать не хотел, и не был в состоянии сообразить что-нибудь или подумать. У него сердце щемило, как в лещедке; он сидел несколько дней выпучив глаза как безумный, и даже Семен догадался наконец, что "видно-де барин нездоров". "А чем нездоров?" – спросил хозяйский кучер. – "Господь его знает; видно сам собой, нутром нездоров, либо всем корпусом".- "А ты бы велел ему вот то и то сделать".- "А нешто польза будет?" – "Как же, так вот рукой и сымет тебе; вот у соседа нашего",- и прочее.

Семен отправился к барину и прописал ему следующий рецепт: "Возьмите вы, сударь, соку из простой трубки, вот хоть от нашего брата, да прикажите потереть себе в бане грудь, хорошенько распарившись; а на ночь подложку, супротив сердца, припарку положите, творогу с мелом, да еще..."

Христиан видел только перед собою ненавистную, пьяную образину Сенькину и слышал, будто он что-то врет. Вставши с дивана, Христиан отошел молча к окну – как вдруг бедное, исхудавшее лицо его загорелось, глаза налились живым блеском: во сне ли, наяву

ли увидел он на улице свою жестокую Пленуру, злодейку свою, Настю Травянкину. Так, это она, она, и прохаживается под ручку с так называемым двоюродным братом своим... "Ложь, обман, это не брат, это... я знаю, кто он... вот настоящий виновник моих бедствий, и я давно это подозревал... я застрелю его, убью..."

Как сумасшедший кидается исступленный Виольдамур к окну в ту самую минуту, когда чета наша стала огибать угол дома его. Два горшка с цветами, стоявшие на окне, полетели кубарем на улицу, пегий хозяйский кот, который грелся на солнышке и сладко дремал на решетчатой отдушине подвала, испуганный рассыпавшимися перед ним на плитняке черепками, вскочил и спасся бегством; казачок Настенькин оглянулся на суматоху эту и захохотал вслух, когда Аршет, принимавший судьбу барина своего близко к сердцу, кинулся вслед за ним также в окно и с таким же усилием поворачивал голову свою за угол, куда уже скрылись гуляющие. А неблагодарная, равнодушная Настя не взглянула даже, не удостоила знакомый ей домик и окна своего

взгляду: прошла равнодушно, как чужая... Христиан, вернувшись из окна и глядя на пустую улицу, на противоположный забор, окрашенный веселенькою, то есть дикою краской, рвал на себе волосы, между тем как Аршет скреб его от нетерпения передними лапами по спине. Для довершения печальной картины под дверьми Виольдамура представляется нам презамысловатая вывеска гробовщика, у которого, в доме Клячева, герой наш нанимал две комнаты.

"Дома Христиан Христианович?" – спросил вошедший со двора курчавый молодой человек – и Семен отвечал, почесывая затылок: "Дома, сударь, Харитон Емельянович, да вот неможется ему что-то, не здоров".- "Не здоров? чем?" – "А господь знает, мы не лекари, так и не можем знать этого, ходят, будто сами не свои; только что я говорил было барину – творогу с мелом да соку табачного..."

Волков вошел уже в комнату, и Сенька договорил остальное сам для себя и для платяной вешалки, на которую привык он смотреть всегда очень пристально, когда сам с собою разговаривал. Харитон прошелся немно-

го по городскому саду; изящный храм славы напомнил ему первое время приезда в Сумбур, когда все было так весело и хорошо, когда столько прекрасных надежд было впереди, когда жили они с Христианом душа в душу... "А ведь он добрый малый,- подумал Волков,- и с дарованием; за что же я сердит на него? что он мне сделал? он не виноват своему несчастью, всему причиной мой лысый дурак. Пропади он с мышинными и воробьиными гнездами своими! И за что я около этих скотов, псарей да конюхов его, старался? Что же станет делать теперь без меня Христиан – а мне надо же ехать в Питер, больше некуда деваться – что он станет делать, бедняк? В самом деле, он жалок. Мне по крайней мере взбалмошный мой Прибаутка уплатил по договору годовое жалованье и обратные прогоны, а как папенька, право, неосторожно поступил, не оговорив в условии, на сколько лошадей прогоны; как я парюю поеду? меньше тройки нельзя, а жид мой не дает, говорит, будь доволен и этим, а не то на одну лошадь выдам, ну, по крайней мере у меня хоть есть с чем доехать; а Христиан давал уроки, как за-



ведено здесь в Сумбуре, в долг; слышно в городе, что ему везде отказали, а нигде не заплатили, да и речи на прощанье об уплате не было. Все в долгах по уши, никто платить не думает: бог знает, как это они живут. И моих, видно, сотни две на них пропадет, за уроки же только то и возьмешь с них, что выиграешь в карты, остальные расчеты все на воде. Чудной обычай, равно и кто им верит и зачем? а спросишь должок, так поглядит на тебя, словно ты помянул что-нибудь недоброе, о чем порядочные люди в благородном доме не говорят. Что же Христиан мой теперь делает? Стыдно в самом деле, что я не видал его о сю пору... А за что на него сердиться? Пойду к нему, размыкаем вместе горе свое".

Вот что привело Волкова к Виольдамуру: добрый он от природы, хоть и горяченек, и скор, и легок, и он хотел подать другу своему дружескую руку и пришел невпопад, как незванный татарин.

Мы видели, в каком расстройстве был Виольдамур: он кинулся от окна опять к дивану, упал ничком, закрыв лицо руками, потом вдруг вскочил и стал поспешно одеваться. В

это время вошел Волков. Он не добился ни одного толкового слова, ни ответу, ни привету. Бледное, расстроенное лицо, дикий взгляд, отрывистые ответы или упорное молчание, отчаянная суета и торопливость во время одевания – вот все, что видел и слышал Волков. Он остановился наконец среди комнаты, сложил руки на груди и глядел молча на Виольдамура, думая про себя: он помешался. Христиан выбежал из комнаты, не удостоив друга своего даже взгляду. Ему было не до него.

Харитон вызвал Семена и стал его расспрашивать, но кроме рассказа о вечерней попойке, о твороге с мелом и о табачном соке не мог выведать ничего. Семен занес было еще кое-какую дичь, но Харитон вышел, не дослушав Семена, и пошел за другом своим, узнать, что с ним и куда он идет.

Виольдамур побежал, как безумный, вслед за увлекавшим его магнитом, закутавшись в плащ и воображая, как двухлетний ребенок, что его никто не узнает. Это была одна из тех минут в жизни человека, где он выше или ниже, не знаем как сказать, всякого влияния рассудка и здравого смыслу, он увлекается од-

ним безотчетным чувством, как роком, и нет безрассудства, нет дурачества, которого бы он не сделал, нет жертвы, которой бы он не принес для достижения самой ничтожной и часто бессмысленной цели.

Виольдамур остановился перед тем же крыльцом, куда, судя по последнему отказу, вход ему был запрещен, с отчаянным чувством глядел он на крыльцо и на запертую дверь, на ручку колокольчика, которая была тут приделана для всякого, только не для него. Ему нет входу в эти заповедные покои, под эту угрюмую кровлю, которая казалась ему прежде веселою, приветливою, отличаясь для глаз его издали между другими кровлями каким-то магическим светом. Виольдамур подумал еще с минуту – взор его упал на окно передней, где стояла шляпа провожатого Настеньки, в родство которого с нею Христиан так плохо верил – Аршет первый взбежал на знакомое ему крыльцо, поглядывал лукаво на барина своего, махая хвостом, потом сел на корточки у самых дверей, во ожидании, что их отворят... и Виольдамур последовал за ним, сам не зная для чего; сердце у него нача-

ло стучать вслух, дыхание занялось: он пригнулся, опустил бережно шляпу свою на пол, с жадностью приложил ухо к дверям, стал приглядываться в замочную скважину и, досадуя на ключ, который воткнут был снутри, в забытьи шевелил и перебирал пальцами по воздуху, желая устранить досаждавшее ему препятствие...

Между тем двоюродный брат, которого родословную разбирать не станем, беседовал, развалившись на креслах, с хлыстом в руках, таким образом:

— Нет, сестрица, вы, пожалуйста, не слушайте моего любезного дядюшки, а вашего батюшки: он человек служебный, деловой, принимает для висту всяких людей в доме и думает, что так можно поступать и в других отношениях; нет, бросьте окончательно этого булочника Христианина: неловко с ним возиться. Он теперь так упал в общем мнении...

— Не беспокойтесь, братец, уговаривать меня: я его ненавижу. Приторный, ах какой приторный, и какой дерзкий, вы не поверите! Притом он себя уронил в общем мнении, его разоблачили, и все разочарованы, вся игра

его одно шарлатанство: он пыль в глаза пускает, больше ничего, приехал из столицы и вообразил, что может дурачить всех, сколько ему угодно. Вот, например, посмотрите этот пассаж...- она подошла к фортепиано, стала объяснять братцу, в чем именно состояло шарлатанство Виольдамура, братец старался пособить ей выпутаться из этого непосильного предприятия, вышла мать, которая одевалась всегда по заведенному порядку двумя часами позже дочери, вмешалась также в разговор, подтвердила положительное приказание не знаться больше с этим скоморохом и не слушаться Ивана Онуфриевича, который полагал, что нет еще достаточных причин для предания Виольдамура анафеме. Братец просил сестрицу спеть прелестный романс "О поколику мне кручина" – и стал ей вторить не своим голосом, то подымаясь выше лесу стоячего, для чего в помощь упирался обеими руками на спинку стула и становился на дыбы, то ниже облака ходячего, пригибая голову набок и стараясь всеми силами выжать из беззвучной глотки своей что-нибудь похожее на бас. Если усилия его и были тщетны в отно-

шении музыкальном, то по крайней мере в другом смысле не остались без последствий: бедный Виольдамур и так уже стоял, как на жаровне – ревность и нетерпение снедали его – вдруг слышит он два голоса, крикливый и фальшивый мужской и нежный, ему давно знакомый женский, от которого задрожали в нем все жилки... Через минуту общая тишина – невнятный говор едва только доходил до слуха его. Тут какая-то небольшая ссора лакеев в передней за картами заглушила вовсе долетавшие до него звуки. С отчаяньем приложил Христиан еще раз глаз свой к замочной скважине, надеясь все еще проникнуть в какую-нибудь щелочку под бородкой ключа, как положение внезапно изменилось самым жестоким и неожиданным образом. Братец, поцеловавши ручку сестрицы, раскланялся, скорыми шагами отправился в переднюю, на ходу все еще прощался и повторял обещания свои наведаться опять утром, и в ту минуту, как Христиан жадно вслушивался в громкий разговор этот и в романс, который братец снова затянул, решительная рука певчего с такою силою толкнула и растворила дверь, что

медная ручка замка расплющила и, так сказать, уничтожила нос несчастного соглядатая. Он перекувырнулся задом и даже в этом отчаянном положении удержался с трудом только, упершись рукою о верхнюю ступень крыльца.

В первую минуту братец испугался было немного, увидев перед собою человека, лежащего навзничь с окровавленным лицом, потом ему сделалось очень смешно, и только Аршет, который ворчал, лаял и кидался на обидчика своего барина, заставил братца приосаниться несколько и, отсрочив смех свой, начать перебранку с собакою. "Извините, бога ради, Христиан Христианович,- начал он и потом продолжал, – Куш, Аршет, Аршет! Тубо, тубо! – Извините, ради бога, я никак не мог полагать, что вы здесь и в самую эту минуту... Аршет! иси! о добрый мой Аршет, что ты: не узнал меня! – Христиан Христианович! встаньте, позвольте, я помогу вам... Васька, поставь корзину с сухарями, дурак; помоги Христиану Христиановичу,- сказал он казачку Настеньки, который подошел и глядел рзинув рот.- Полно, Аршет, что ты: взбесился,

что ли? Воля ваша, он укусит меня, не дает мне приступить к вам..."

Между тем люди Травянкиных сошлись, Виольдамур опомнился и встал. Настенька, услышав какую-то суматоху, взглянула было в дверь и в ту же минуту с ужасом отступила; опомнившись, Христиан принужден был идти в людскую Травянкиных, на двор, и омыться там, а потом, зажав нос платком кое-как, пошел домой. Удар пришелся так ловко, что кровь долго еще нельзя было остановить и все лицо раздуло. Сенька предлагал барину своему несколько прекрасных средств, и между прочим приложить жеванной травы деревей или кашка, рассказывал также о знахаре, который сразу заговаривал всякую кровь, и жильную и черную.

Провозившись весь день с носом, Христиан к ужасу своему видел, что он пух все более, увлекая за собою в один огромный волдырь почти все лицо. Не столько боль, сколько досада и стыд сделаться отныне посмешищем целого Сумбура, от которого подобный случай никак не мог утаиться, приводил Христиана в отчаяние. Он послал за другом своим, и Вол-



ков пришел; взаимные отношения их, как вы видели, начинали путаться, и во всяком случае первое объяснение было бы томительно, вероятно, для обоих – и потому, если во всяком хude искать добро, то разбитый нос Христиана не остался без полезных последствий; жалкое положение, в каком Волков нашел друга своего, устранило всякое объяснение о прошедшем, и добродушный Харитон сейчас же послал за доктором. Этот прописал рецепт на полулисте, велел послать за пиявками, обещал быть через час и сдержал слово.

Вот он – сумбурский эскулап и строгий диететик, как показывает самая наружность его: ни спины, ни груди, ни живота, только фрак на мешковатых панталонах, костлявые руки, маленькая плешивая головка, шляпа с низенькою тульей и суковатая палка – вот вам весь сумбурский доктор. "Без строгой диеты ни шагу,- была любимая поговорка его.- Заливай огонь сколько хочешь, но подливай в то же время масла, все будет гореть". Только черный кофе и хорошее венгерское вино позволял он пить во всех болезнях, потому что сам до того и другого был большой охотник.

Сюда, говорит он, на переносье, да на самый кончик носу, еще по пиявочке... и двое мальчишек из цирульной стараются усердно, привешивают Христиану взапуски милovidные сережки свои к новорожденному набалдашнику; между тем как бедный Христиан морщится и щурится, Аршет с недоверчивостию обнюхивает банку с пиявками, а огромный запас лекарств в стклянках всех размеров ожидает смиренно очереди своей, которая наступит, как полагать должно, после пиявок.

Положим, что доктор спас жизнь раненому, не менее того, однако же, Христиан просидел дома недели две. В продолжении этого времени Волков не покидал его, и, разделавшись окончательно с Прибауткой, которого громкие затеи лопнули вместе с надеждой быть предводителем, Харитон проводил большую часть дня у друга своего, и тут они судили, рядили, горевали и придумывали что делать вместе. Волков намерен был ехать домой в Петербург, а Виольдамур удерживал его, всеми силами уговаривал, потому что не знал куда деваться и без Волкова остался бы в самом жалком одиночестве. Волков решился

остаться еще на время и оглянуться, не найдет ли сподручное место, а между тем ожидать ответа от отца.

Как Волков, так и Виольдамур похождениями своими были невольно наведены на более дельное размышление о себе и о будущности своей. Волкову впрочем нечем бы ло себя упрекнуть; отставку свою приписывал он, по справедливости, случаю и причудам вздорного человека, но он усердно старался направить друга своего на путь истины, представляя ему со всею откровенностию картину беспутной его жизни. Христиан, правда, морщился при этом немного, как от пиявок, но слушал, сидя с распухшим и перевязанным лицом и с трудом только давая малословные ответы. Он опомнился при нынешнем несчастном положении своем, повинился в дурачествах своих, извинялся молодостию, пылкостию, неограниченною любовью к своему искусству; обещал посвятить себя ему еще исключительнее прежнего, искать в нем единственное утешение, но быть умнее, не связываться с людьми. И потому, когда строжайший диетик предписал ему наконец уеди-

ненные прогулки для окончательного исцеления контузии, то Христиан, как послушный больной, отправлялся ежедневно в назначенный час ходить по часам, надвинув шляпу на глаза и не смотрел ни на кого, потом садился в лесок, на овраге, который в воображении своем пересоздавал в хрустальный ручей, и уносился мысленно за звуками гитары или кларнета; но чудак вздумал во время прогулок этих навьючивать инструмент на своего Аршета, обращая тем еще более внимания на себя по улицам Сумбура и становясь таким образом потешником целого города. Я сравнил уже общество этого города со стаей благородных птиц, которая, как известно, по природе своей, греха на душу не берет, на живность не кидается; но зато если кто свалится, то охотно выклевывает глаза и насыщается плотию погибшего. Вот какая участь угрожала бедному Христиану.

В самом деле, положение его было жалкое. Низринутый внезапно горькою существенно с созданного воображением седьмого неба, Христиан очутился в преисподней, сам не понимая каким образом. Все сладкие грезы

его улетели, осталась одна насмешка, презрение и нужда; наследие все было прожито, а нажито вновь ничего, кроме того, что всякий наживал в Сумбуре: взаимных долгов и начетов. Разница была только та, что Христиан должен был портному, лавочникам и хозяину квартиры, а следовательно, едва ли мог отделаться без уплаты, тогда как ему задолжали ученики и ученицы, которых папеньки и маменьки кончили все расчеты отказом учителю, на которого внезапно прошла мода. Ни в чем не зная меры, Христиан показал в Сумбуре сверх того расположение к музыке особенного рода, известной под названием стеклянной; с вечеров и приятельских пирушек его нередко привозил домой чужой кучер, стучал, по сумбурскому обычаю, кнутовищем в ставень и кричал: "Семен! а Семен! поди, возьми барина своего..." или же его укладывали там, где у него отнимались язык и ноги. В Сумбуре это не только прощалось многим, если они умели заслужить имя *доброто малото*, но даже некоторым служило если не в похвалу, то в похвальбу и особенную славу; Христиану же это поставлено было в большой порок,

и между множеством почетных прозваний, которые в короткое время Сумбурцы успели надавать Виольдамуру, числилось также прозвание *сусла*. Словом, бедный Христиан внезапно увидел себя отчужденным от общества, вообразил, что и не нуждается в нем, а может отплатить ему презрением, включив в общество это также неверную свою Настеньку Травянкину, и затем посвятить себя исключительно своему искусству. Чувствуя, однако же, что в благом намерении этом как-то мало смыслу, Христиан утешал себя тем, что этим же путем, то есть музыкой, которой никто не услышит, он приобретет что-нибудь и, получив плату за прежние уроки, разделается с должниками и тогда уже распрощится с Сумбуром. Волков соболезновал о друге своем, но почти не видел средства помочь ему; при всей пылкости Харитона в нем было несколько более благоразумия, и он понимал, что Христиан ведет себя ужасно бессмысленно, и понять это было, конечно, немудрено.

В этом бестолковом поведении героя нашего между прочим убеждает нас и взгляд на то, что он теперь желает. Механические затруд-

нения игры его одолели; терпение лопнуло, отчаянье овладело художником. Давно уже Христиан утверждал, что музыка умышленно затруднена цеховыми и присяжными музыкантами; что генерал-бас, контрапункт, различные ключи и вся теория музыки – нелепая выдумка; что все это ни к чему не ведет, изобретено с лукавою целию запутать и затруднить изучение искусства для непосвященных, служит, так сказать, одним только мasonicким, условным знаком между цеховыми мастерами, которые и сами тут ничего не понимают, кроме ханжеской, своекорыстной цели сделать цех свой недоступным для других. Рассуждая тем же путем, Христиан утверждал также, что наружная форма музыкальных инструментов слишком затейлива, перехитрена, и что по этой причине инструменты с хорошим тоном так дороги и редки. Две скрипки, которые по наружности почти не отличаются друг от друга, стоят – одна сто, другая тысячу рублей; отчего? от того что одна вышла, на удачу, отличною, другая напротив, по той же причине, весьма плохую. В припадке такой ненависти и в духе преобра-

зователя Христиан, рассвирепев, разбил вдребезги виолончель свой, с которым не мог сладить; вознамерился сделать виолончель и скрипку своего изобретения и между прочим прибавить на них и пятую струну, чтобы не мучиться бесполезной аппликатурой. Бедный Аршет, глядя со страхом на разъяренного барина своего, который безжалостно молотил виолончелью в печь, как тараном в стену, Аршетка спрятался за ящик и продолжал с беспокойством и недоверчивостию коситься на барина, в котором он уже не узнавал более прежнего Христиньки.

Несмотря на дружбу свою с Волковым, Христиан, однако же, в подобных предприятиях таился несколько от него и, не отпуская его из Сумбура, искал и чуждался его в одно и то же время. С другой стороны, безусловное уважение Волкова к другу своему исчезло: он видел в нем уже весьма обыкновенного человека с большими недостатками, любил его, но сомневался, выйдет ли из него когда-нибудь путное. Он давно уже перестал поддакивать ему слепо и часто спорил, доказывая, что друг его несет чепуху. Поэтому бакалавр сумбур-



ский, сумасшедший профессор нескольких семинарий, был иногда гораздо сподручнее для Христиана, и они нередко просиживали вместе целые ночи за весьма учеными беседами. Христиан изложил ему однажды убедительно и красноречиво мысли свои о теории музыки и о постройке музыкальных орудий, пускаясь в нелепые суждения об акустике, и бакалавр поддержал нового друга своего с большим жаром, заговорил так красно, с такою необъятною ученостию, что Христиан сидел развесив уши, разинув рот и только кивал головою в знак своего согласия.

— Одни только древние греки и римляне понимали истинную силу музыки,- сказал бакалавр.- Они приписывали изобретение ее богам. Гораций говорит в тридцать первой оде, посвященной лире: *O decus Phoebi,.. o laborum dulce lenimen, mihi cunque salve, rite vocatiti...*<sup>1</sup> И крины сельские воспевают нелицемерно благость создателя; почему, если подлежащее двойственного числа, то и сказуемое должно быть в том же числе. Где музыка? Музыка всюду: одиночная, двойственная, тройственная, множественная. *Quid est logica? Ratio*

quid? – Mens Sana? {Что есть логика? Что – разум? – Здравый ум? (*лат.*).} Участь всякого из нас привязана к глыбе земли – душа восхищается, ликует, поет и рукоплещет; смиряйся в вожделениях своих, углубись в себя и пой, пой сердцем, как поет петух; история древняя, история средняя, история новая, история новейшая – а потом что? опять сначала, опять древняя, времена баснословные, доисторические; возьмите скрышку, разве она не говорит? право, говорит, и чисто, что хочешь, то тебе и скажет – только тихонько веди смычком, чуть-чуть, а то и закричит: ты дурак, ты дурак, и все мы дураки. География безумствует, это очевидно; Катулл вторую песнь свою сочинил на воробья и его выхваляет; ясное доказательство, что в старину и воробьи певали по-соловьиному; а Цинтия, о которой Проперций говорит в первой элегии своей, она явным образом чирикала хуже воробья. Ювенал когда жил? и ведь он уже смеялся над нами; он первую сатиру свою начинает словами: "Semper ego auditor tantum?" {"Долго мне слушать еще?" (перевод с *лат.* Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского).} – вечно ль я буду ауди-

тором, то есть, без производства в чины или звания; Ювенал тоже безумствует, он музыкант созерцательный, как ассирияне, мидяне, вавилоняне, халдеи, иудеи, евреи – все злодеи!

<sup>1</sup> ...Феба украшенье,  
Обители богов отрадная самой.  
Внимай мне, сладкое трудов упокоенье,  
Зовущему с мольбой.  
(Перевод с лат. А. А. Фета).

Речь бакалавра, сказанная с такою твердостью, самоуверенностью и с таким жаром, убедила Христиана еще более в необходимости преобразовать всю теорию и практику музыки, применив к тому новые законы акустики, которые Виольдамур только что собирался открыть. Относительно знаний, вообще наук, Виольдамур никогда не выходил из ребячества. Не получив надлежащего образования, не поучившись хорошенько тому, что люди знали до него, он считал все то, что сам видел или слышал впервые, новостью, и поэтому изобретениям его на этом поприще не

было конца. Вам, может быть, случилось слышать, что у нас один почтенный муж посадил какое-то зерно в землю, наблюдал с любопытством, каким образом оно раздвояется и пускает росток, и, считая это новым открытием, напечатал описание, ничтожное по недостатку научных познаний в ботанике – и приложил рисунок, не верный по той же причине.

Столы и пол в комнатах Христиана покрывались чертежами нового роду скрипок, виолончелей и смычков; нет той бессмыслицы, которую бы Христиан не придумывал для усовершенствования инструментов и облегчения игры, а между тем, когда порой любвишка и отчаянье били ему в голову, как смесь шипучего шампанского и пригорелой сивухи, то он, для успокоения души своей и примирения двух враждебных начал, прибегал к бутылке сумбурской мадеры, в которую сливались поддонки и остатки всех возможных вин, и разнородная смесь эта доставляла Христиану хотя то утешение, что он на время забывался.

В Сумбуре жил какой-то злополучный фортепианный настройщик, обратившийся ис-

подволь в так называемого фортепианного мастера. Это был немец, сосланный, по одному несчастному случаю, на поселение, возвращенный наконец каким-то ходатайством из ссылки, но с запрещением въезда в столицы, почему и поселился в Сумбуре. Краусмаген никому не хвалился похождениями своими, которые рассказывались другими различным образом, но сущность состояла в том, что он дозволил себе недозволенную самохранную защиту против своевольного, хотя и чиновного служителя порядков, как уверяли, закоренелого ненавистника немцев. Краусмаген о сию пору, а тому прошло уже много времени, полагал, что он был прав, и утешался этим, поседев на чужбине, где настраивал и чинил фортепиано и давал иногда уроки в музыке. Христиан уговорил Краусмагена сделать какую-то угловатую скрыпку, своего изобретения, другую кузовком, с широкой пяткой, смычок с крючковатым носком на пружине; но не довольствуясь этим, требовал теперь, чтобы Краусмаген переделал старый рояль, по указанию Христиана, на десятиоктавный. Десять октав! вообразите, какая рос-

кошь! Глухие звуки крайних октав, конечно, не могли быть отличены один от другого, и Краусмаген предсказывал и доказывал все это Христиану наперед; но тот, помешавшись раз на таком изобретении, от которого ожидал переворота во всей музыке, не давал Краусмагену покоя, сидел у него день и ночь на шее и настоял наконец на своем.

Вы видите один из первых опытов Христиана на знаменитом рояле. Художник наш катается перед инструментом на рельсах, как будто отправляется в Царское Село, а ноты, само собой разумеется, возит с собою, иначе не по чем было бы играть; для этого привесил он их на дуге к голове своей. Упряжка эта очень замысловата, и зрители или слушатели ей удивляются, разинув рот, развесив уши. Харитон Волков, как видите, принадлежит к первому разряду, то есть слушает и удивляется, разинув рот; самоучитель француз напротив и Аршет ко второму: они слушают, развесив уши. Господин Неизвестный, по благообразию маленьких ушей своих, не в состоянии изменить их положения, а заткнув рот, по обыкновению своему, сигаркой, поневоле

подтянул и губы; четвертый слушатель, знакомый нам уже по лицу, если и не по прозвищу, развесил напротив, вместо ушей, губы свои и, надивившись вдоволь, никак собирается вздремнуть.

Христиан Христианович не забыл вырезать на бляхе, прибитой к передней доске рояля, имя свое. Не знаю, к чему предосторожность эта могла служить в Сумбуре, где и без того всякий знал, что Краусмаген работает для *Суслы* рояль вдвое шире обыкновенного – и этим сведением добрые мои Сумбурцы удовольствовались; они наперед знали, как люди прозорливые, что изо всего этого выйдет одна только потеха, и узнали не потому, чтобы понимали дело, а потому что Христиан попал раз к ним на зубок, а соскочить ему в Сумбуре не дадут. Сумбурцы мои не изменяли никогда мнения своего о человеке, если только мнение это было дурное; в противном случае оно менялось при первом случае, как Христиан испытал это сам над собою. Сумбурцы все, от мала до велика, знали впрочем еще более подробностей об этом изобретении, более, чем можно было вычитать на вывесочной бляхе

его или по каким-либо другим приметам: они знали уже и то, что Христиан кутит не в свою голову, что за угловатые скрыпки отдал немцу три кларнета и сюртук, что улестил бедного Краусмагена переделать рояль в долг, уверив его разными доводами, что непременно вскоре получит деньги и расплатится. Итак, вот чему по крайней мере Христиан научился в Сумбуре: надувать людей; ему оборот этот так понравился, что он, по примеру достойнейших лиц этого города, метался туда и сюда к бывшим приятелям своим, желая занять сколько-нибудь наличными деньгами; но сумбурцам показалось это смешным, в чем и мы на этот раз должны с ними согласиться; а тем, которые сами задолжали Христиану по дружбе и по службе, то есть, брали у него в бывалые времена по пяти и по десяти рублей займы или же проиграли ему сотенку в карты и задолжали за уроки, эти люди, говорю, находили напоминание Христиана разделяться с ним просто неприличным и рассказывали об этом друг другу смеючись, как о новом доказательстве, что Христиан все еще в белой горячке. Таким образом Христиан по-



ставлен был частью сам собою, частью людьми в довольно неприятное положение; несостоятельность его, огласившаяся довольно скоро, привлекла целый рой заимодавцев всякого разбору, а Христиану не оставалось ничего как стоять перед ними, пожимая плечами, разводя руками и приговаривая разные несвязные речи. Новоизобретенная скрипка под мышкой и смычок, переходивший во время разговора из рук в руку, показывали сильное смущение, в которое бедный и бестолковый гений поставлен был нахальными требованиями разночинцев. Впереди всех довольно смело наступал человек, над лавкой которого была явственная надпись: "Овощенная, мыльная и фруктовая лавка, бакалейный товар и свечи". Этот человек, как видите, держит покуда еще тело свое в довольно почтительном положении, но бородой потряхивает самым неприятным образом и речи испускает довольно грубые: спина по привычке кланяется, но борода грубиянит. Уверяя, что в убыток торговать нельзя, и ссылаясь в этом на плотного Федулова, у которого Христиан забирал сукно и другой аршинный товар, пе-

редовой бородач едва ли не дает бедному Христиану острастку, обнадеживая его, что-де "на вашего брата можно еще найти суд, не больно уж вы-де большой человек; коли такие станут обижать нашего брата, так это хоть в землю ложись", из чего вы и можете заключить, что хозяин бакалейной и свечной лавки есть коренной Сумбурец, который полагает, что большому человеку можно и не платить долгов своих, тогда как это есть непрременная обязанность маленького человека. Федулов поддакивает, но сам мало пускается в обстоятельный разговор, из опасения прикусить себе язык, потому что Федулов наш заика. Он в разговоре особенным образом прищелкивал языком, почему в Сумбуре и была постоянно в обороте острота, что Федулов жалеет товар, отдаваемый покупателю, и с трудом только с добром своим расстаётся. Если Федулов, по обычаю своему, щелкал языком, отпуская товар на Христиана, то вещь его не обмануло, было о чем жалеть; едва ли Федулову не придется, также по давнишнему обычаю его, разложить товар этот на других, более исправных плательщиков, потому что опять-таки в

убыток торговать нельзя, и если один не платит, то надо выручить деньги с другого. О са-лопнице, которая выходит в дверь, потеряв всякую надежду на удовлетворение, вероятно, довольно скромных требований своих, говорить не станем; не понимаем, какие у нее могут быть с ним счета, если это не швея или не прачка; одна из них рябая, другая курносая, а как тут лица не видать, то и нельзя решить сомнения. Но четвертый петух-наступник или лев-обидчик заслуживает более внимания, потому что безнадежная молчаливость его и горькое отчаянье, выражающееся в стиснутых зубах, вызывает наше сострадание, хотя глядя на него берет смех и горе. Это Краусмаген, знаменитый настройщик, работавший столько времени в поте лица своего даром и лишенный надежды получить бедную плату за десятиоктавный рояль. Краусмаген, по-видимому, припоминал в эту минуту все несчастья юдольной жизни своей, начиная от самохранной обороны противу знаменитого ненавистника немцев и до настоящего приключения; смиряясь перед судьбой, он оставил остойчивые, оловянные глаза в сво-

бодный промежуток между зайкой и краснобаем и, покоряясь участи своей, ожидает только, когда тот и другой выйдут с пустыми руками, чтобы и самому в грустном молчании за ними последовать. Не знаю, был ли Краусмаген когда-нибудь забиякой и заслужил ли этим участь свою, но, теперь по крайней мере, он по наружности более походит на мокрую курицу, чем на драчливого петуха.

Вот в каком тревожном положении был Христиан наш, когда наконец Волков получил положительное письмо от отца, который призывал его немедленно в Петербург. Больно задумался Христиан, когда друг его пришел с этою вестью, и не знал как быть и что делать. Сумбур приводил его в отчаянье: он бы рад ехать с другом своим куда угодно и уговорил было его взять сироту опять с собою, но должники обложили его путами и веригами, не отпускали из города, грозили тюрьмой, и если угроза эта в сущности не была слишком опасна, потому что едва ли кто-нибудь из них решился бы внести ни за что, ни про что кормовые деньги, не менее того, однако же, Виольдамур был уже обязан подпиской не

выезжать из города до уплаты своих долгов. Дрожащею рукою подписывал Христианушка жестокий приговор свой жить в Сумбуре по-смешищем для праздного общества, которого уважение утратил он невозвратно, и глядеть не смигивая голодной смерти в глаза. Пламенная дружба Волкова несколько остыла, это правда, но он душевно соболезнавал об участи товарища и теперь, когда настал час бедственной разлуки, подумал: "Ну что, однако же, если тут действительно гибнет непризнанное, не оцененное слепую толпой дарование – что, если будущий историк Виольдамура упрекнет Харитона Волкова, в глазах многих бесчувственных, в том, что он с расчетливою холодностию покинул друга и собрата своего в нужде и в беде и спокойно уехал в столицу?" Воспламенившись этим, Волков едва было не предложил бумажник свой к услугам друга, который и прежде неоднократно прибегал к этой помощи, но, рассчитав наскоро свою наличную казну, увидел, что это было бы слишком безрассудно и что они могли бы сесть вследствие этого оба в Сумбуре, а старик отец не сказал бы сыну своему спаси-

ба за такое распоряжение. Обдумав все это и объяснив по возможности Христиану, который, однако же, очень худо понимал это дело, Волков сделал вот что: он успокоил сколько мог самых назойливых заимодавцев Виольдамура – хозяина дома, Федулова и бакалейщика, обещав им скорую помощь, оставил втихомолку Христиану немножко деньжонок, посоветовав убедительно держать их втайне и расходовать только в самой крайности, и наконец, обещал упросить отца, чтобы он выкупил Христиана из петли и вызвал его в столицу. Затем Харитон обнял друга со слезой на глазах, сел в тележку, которая мерно прихрамывала за каждым оборотом кривого заднего колеса, и поплелся опять рассчитывать с рыжими содержателями постоянных дворов, с дюжими сожителями их, с извозчиком, который на каждом роздыхе приходил просить то на овес, то на сено, и отстаивать пожитки свои от немилосердных, острых щуповинных досмотрщиков, которые без всяких околичностей прошивают щупами этими каждую телегу насквозь и прошили мне таким образом толстый французский словарь.

Точно будто бы у них в руках не простой заостренный железный прут, который протыкает все, что ни встретит на пути, а какой-нибудь магический жезл, действующий на одно только корчемное вино!

Христиан до того был огорчен отъездом единственного в Сумбуре человека, с которым мог еще вымолвить задушевное слово, человека, в котором он все-таки еще находил какую-нибудь подпору, что плакал горько. Он хотел было проводить его, но ему совестно было дойти с Волковым до покинутой заставы, где обыкновенно белый козел занимал в осиротевшей будке место часового, и не сметь перешагнуть с другом этот заветный порог, чтобы неприятелям его или блюстителям порядка не вздумалось его остановить из опасения, чтобы он не уехал из Сумбура. В нерешимости этой Христиан вышел было на крыльцо, но увидев, что и тут уже борода окаянного бакалейщика торчит из-за угла по одну сторону, а брюхо Федулова по другую, он простился с Волковым в комнате, проводил его до повозки, пожал ему руку, посмотрел на него умоляющим оком и воротился домой.

Дома Христиан Христианович походил скорыми шагами по комнате, взглянул на роль и отвернулся – лег в растяжку на диван, закинув обе руки за голову, потом вскочил и опять стал ходить, взял было кларнет и опять положил, взял скрипку свою и смычок, побренчал пальцами немножко, опять повесил скрипку, опять походил и наконец позвал заспанного Сеньку. Сенька вошел и глядел, приподняв усиленно губы и брови, похлопывая веками, как человек, которому пришлось стоять и смотреть бог весть куда и к чему, которому все на свете надоело, кроме своего запечья. Христиан велел ему подать сахар, чайник, принести бутылку рому из погреба за наличные деньги и повторил приказание свое громким голосом дважды, потому что Семен, будучи нечаянно потревожен, худо понимал с первого разу то, что ему говорили. Семен пошел, пробормотав: "Вот это так; что дело то дело". Когда приказание было исполнено, то Христиан рассчитался с Семеном, заплатив ему что следовало, и немедленно отпустил. Получив наличные денежки, Сенька несколько не удивлялся отказу, не заботился о том,



где пристроится и куда пойдет; он сообразил только на первый случай, что погулять можно ухарски, и вышел. Христиан отпустил Семена для необходимого сокращения расходов, а прочее было сделано как для того, чтобы на прощанье воспользоваться еще раз услугами его, так и для того, чтобы забыть на время горе.

И вот он сидит перед нами в живописном положении, с геройскою решимостью позабыть горе свое и кручину во что бы то ни стало. Прелюдия гитары навела его, правда, на какую-то неутешительную по наружности задумчивость, но зато другая подруга, под правым локтем, если еще и не утешила, то по крайней мере согрела, и платок с шеи сорван. Видно, грустная мысль каким-то оборотнем перебежала бедному Христиану дорогу, когда он, опустив гитару свою, с таким отчаянием сорвал с себя платок, протянул левую ногу и кинулся локтем на столик, на котором салфетка сбилась в комок, а стакан, судя по бутылке, много раз уже опорожненный, полетел на пол, и напугал покоившегося под столом Аршета. Аршет вскочил и нюхает, что бог

послал, но, обманутый в надежде, пятится задом, не зная, лечь ли опять или вскочить на окно и посмотреть на прохожих. Христиан ничего не видит, не слышит, по крайней мере все это не стоит для него никакого внимания, он думает думу крепкую, а между тем, я полагаю, мальчики ходят у него в глазах; хмель, сон и явь путаются в расстроенной голове, как кинутые в грудку бумажные вырезки для китайских теней, где нитка цепляется за нитку, проволока за проволоку, нос за косу, рука за ногу. Великолепная будущность, громкая слава на весь крещеный мир – и нищенская сума; честный отъезд из Сумбура, отверзтые объятия в Петербурге – и городской острог сумбурский; куча прославляемых в целой Европе музыкальных творений, новых, небывалых, гениальных, целый ряд улучшенных тем же художником инструментов, раскрытые тайны истинной музыки, искажаемой досель лжепророками своими, – и немощная ничтожность, богадельня, сумасшедший дом, безвременная смерть – все это являлось и сменялось поочередно в голове Христиана быстрее молнии, и лицо его то рдело, глаза сверка-

ли огнем предприимчивой решимости, то потухали внезапно, щеки остывали, и холод бего пробирался из глубины груди до самых ногтей, не только до перстов, и шевелил всклокоченные на голове волосы, перебирая их по одному в самом корне их и подергивая всю поверхность тела гусиной шкуркой. Наконец огонь, купленный из мыльной и бакалейной лавки за наличные деньги, взял верх, низложил всех супостатов, и торжествующий Христиан, обнимаясь с верным Аршетом, от умиления и радости едва дотащился ползком до кровати своей, в которой видел какой-то великолепный помост и чуть только не трон королевский; свалившись головою в ноги, а ногами к изголовью, он блаженствовал в каком-то баснословном царстве; высоко лежащие перед ним на подушках ноги придавали телу его необычайную легкость, летучесть. Христиан забылся и уснул в ту самую минуту, когда миллионы людей его окружали и возносили на руках своих к небесам, между тем как оглушительные клики, говор и шумное торжество лишали его самого всякой возможности объясниться с поклонниками своими,

отблагодарить их хоть одним словом, показать свою признательность, поэтому Христиан Христианович, засыпая, кивал только слегка головой и пошевеливал пальцами, желая хотя этим движением обнаружить свои признательные чувства.

С этого рокового дня Христиан, оставшись один в лесу людей ему чуждых, одиноким даже в двух покойчиках своих, потому что уволил Сеньку за преобразованием своего домашнего управления, Христиан начал дичать все более и пить, во ожидании помощи Волкова, с отчаянною решимостию. Между тем, однако же, самоуверенность не упала, и мысль, на которой он почти помешался, то есть нанести всей нынешней музыке решительный удар одним гениальным творением и таким образом исхитить лавровый венец из рук завистливых врагов и бессмысленных толковников,- мысль эта развивалась со дня на день с большею силою, овладела наконец художником нашим вовсе, и под наитием вдохновения ее приступил он как иступленный к исполнению своего намерения. Христиан видел во сне и наяву могучие звуки, ко-

торые должны были в дивном и неслыханном доселе сочетании своим изумить весь мир: звуки эти отзывались в душе его поминальной симфонией, перед которою Моцартово *Реквием* должно было разрушиться в своем ничтожестве.

Надобно теперь припомнить, что Христиан был постоялец гробовщика, русского, но женатого на доброй немке – она-то заступилась за постояльца и земляка своего сколько могла перед мужем, и ее покровительству Христиан обязан был, что его досель еще не выгнали на улицу, что даже потихоньку кормили, особенно в последнее время, когда бедняку ничего не оставалось, как жить Христа-ради. В самое это время, когда он собирался разродиться своим "заупокоем", скончался в Сумбуре прокурор, с знаменитой тещей которого мы имели честь познакомиться на бедственной памяти концерте Христиана Христиановича. Кончина прокурора – дело довольно важное: готовились приличные похороны, теща проклинала при растворенных окнах покойника за то, что он оставил после себя вдову и пятеро сирот, называла его из-

вергом, злостно скончавшимся, нечувствительным варваром. Народ отаптывал пороги, глядел, крестился, вздыхал, уходил, и толпа сменялась толпой. Пятеро взятых напрокат поваров возились круглые сутки на кухне, услужливые поминальщицы – женщины, которые ни за что на свете не упускают ни одних похорон, суетились по дому в черных платьях и платках, которыми они раз навсегда обзавелись в надежде проводить сорок покойников и заслужить этим царство небесное; учитель или бакалавр всех на свете наук, пользуясь свободным доступом в дом покойника черни, нищих, калек, юродивых, расхаживал по комнате, как по кафедре, и нес не запинаясь страшную чепуху, которую народ слушал с умилением; словом, в доме покойника все было в своем порядке, а гробовщик, хозяин Христиана, выставил уже оконченный гроб в сени и побежал нанять пару солдат, чтобы отнести его куда следует.

В этот промежуток времени Христиан возвращался с уединенной прогулки, на которой не видал ни красот сумбурской природы, ни встречаемых людей, а был занят одним только –

созданием своим. *Заупокой* бродило у него в голове и до того овладело воображением его, что он шатался как неистовый, как иступленный и только собирался приступить с вечера к работе и просидеть всю ночь. Прокурорский гроб с принадлежностью попадает к нему на глаза при входе в сени; Христиан внезапно охватывает его и уносит в свою комнату, в которую дверь шла из этих же сеней. Полупомешанный друг наш обрадовался находке этой, как кладу, и был не в состоянии размыслить, что он делает. Дверь снутри немедленно заперта была на ключ и на задвижку, окна завешаны, гроб поставлен среди комнаты на два стула, свеча приткнута на гвоздь, вбитый в стену, старинные маленькие клавикорды, взятые незадолго перед тем у доброй хозяйки-гробовщицы и заступившие место пышного десятиоктавного рояля, поставлены верхом поперек прокурорского гроба, затем Христиан сел в него, и работа закипела. К довершению картины сам Христиан Христианович надел на себя взятый вместе с гробом погребальный плащ и широкополую шляпу; бутылка явилась на клавикордах, и

как тут некогда было думать о пунше, то неприхотливый сочинитель удовольствовался и голым ямайским ромом. Ямайским говорю я потому, что всякую вещь надобно называть своим именем: а на ярлыке напечатано было так, хотя этот *ямайский* был природный русак и путешествовал, как многие странники, не перешагнув родного порога. Бедный Аршет, понимая трезвой головой своей лучше барина своего, как мало во всем этом толку, предчувствуя, может быть, беду, которую, как многие уверяют, собаки предчувствовать умеют, в первый раз исчез с картины нашей и, вероятно, заполз куда-нибудь в темный уголок. Излишним считаем объяснять, что Христиан сделал все приготовления эти, надеясь более настроить свое воображение. Он сидел или лежал в гробу, чувствовал все, что должен бы чувствовать покойник, если бы он был жив, и потому с большею силою мог передать в звуках и созвучиях эти чувства. Здесь остается заметить только два обстоятельства: во-первых, что Христиан, укладываясь в домовину, не забыл заpastись флагом, как инструментом, господствующим в знаме-



нитом творении Моцарта, хотя отнюдь не хотел подражать ему; во-вторых, что небо над Христианом заволакивает уже молниеносными тучами: огромная занавесь, которая должна содержать в тайне гениальное предприятие Христиана, уже дымится от неосторожно подставленной свечи; но самобытный сочинитель *заупокая* ничего не замечает и, оглушенный внутреннею музыкой души своей, вдохновенно дописывает четвертую строчку вступления. Не думайте, чтобы Христиан достиг теперь высшей степени сумасбродства: вы, к сожалению, видели только цветочки, а ягодки будут впереди. Христиан пошел таким путем, где люди с половины дороги не возвращаются.

Но оставим восторженного, исступленного сочинителя и обратимся к покойному прокурору, которого любимый анекдот, затверженный Сумбурцами давно наизусть, был тот, как ему однажды досталось переночевать на полу по поводу того, что кровать среди белого дня пропала без вести; ее вынесли для очистки на двор, а со двора какой-то промышленник снес ее прямо на рынок. Итак, вот

участь бедного прокурора: заживо у него украли кровать, и он принужден был переночевать на полу; но как быть теперь, когда у него украли гроб, а пора пришла такая, что ему без гроба жить нельзя?... Гробовщик, приведши людей, крайне изумился, когда гроба не оказалось в сенях, куда он его поставил; вошедши в комнату, он стал с неудовольствием выговаривать Катерине своей, что она произвела такой беспорядок, и спрашивал, куда она девала гроб. Недоумения и объяснения кончились тем, что гроба нет, и необычайное приключение это было причиною большой тревоги. Городничий, игравший в бостон у одного из советников, конечно, не потревожился по этому поводу и не пошел разыскивать такую странную покражу; не менее того, однако же, как в этом, так и во многих других домах много было разговору и смеху о том, что у прокурора украли гроб. "Вот, что называется отомстить чувствительно,- сказал со вздохом один из гостей.- Украсть гроб у покойника – это еще хуже, чем отнять у нищего суму!" – "Бедная Акулина Ивановна,- сказала другая,- как это должно быть ей при-

скорбно!" – "Отчего же так?- спросил третий.- Ведь она же не за два гроба заплатит, а за один; сделают другой, а этот мастер ищи себе на том, за кем пропал".- "Да он каким бархатом был обит?" – спросил остряк. "Малиновым",- отвечал кто-то. "Ну, так по малиновой дорожке побежал!" – и громкий хохот приветствовал эту сумбурскую остроту.

Если пропажа прокурорского гроба не подняла городничего на ноги и не отозвала его от зеленого сукна, то вслед затем через запыхавшегося соседа, вбежавшего опрометью в дом, перед которым стояли городнические дрожки, получено было другое известие, которое заставило городничего бросить из рук мелок с восклицанием: "Ни днем ни ночью не дадут покою, чтобы им всем погореть",- и нехотя отправился на место происшествия. Дом гробовщика, или, вернее, Клячева, горел. Если угодно взглянуть на пожар этот и на все, что тут делается, то загадка будет вам разгадана; Христиан Христианович, которого задушил было дым в комнате от подоженной занавески и который насилу выломал дверь, мечется в погребальном наряде своем на улицу и жадно

дышит свежим воздухом; испуганный Аршет, упавшая навзничь гробовая крышка и скатившийся с нее череп – все это уже по себе достаточно объясняет дело. Тут же вы видите гробового мастера, спасающего остальные, запасные гробы свои; так всякий думает о своем добре, и если никто из читателей Сумбура не дал бы гробовщику за весь запас этот ни одного ломаного гроша, то гробовщик не менее того был уверен, что каждый в свою очередь заплатит сполна что следует за свою будку, которую мастер наш, чтобы не пугать людей, называл обыкновенно в разговоре "деревянным тулупом".

В отдалении видите вы и пожарную команду, которая на этот раз является с чрезвычайною исправностию, и каланчу с пожарным знаком, и соседа, вышедшего с помелом отстаивать свой угол, и бабу с грудным ребенком, которая вышла посмотреть, "как горит гробовщик", и, наконец, пару уличных мальчишек, которые любят, зевая, на пожарную команду и жмутся к углу, чтобы их не раздавили.

Но Христиан наш бедный, в каком он поло-

женин? Босой, полунагой, в погребальном плаще и шляпе, растерзанный бедствием, восторженный до неистовства будущим созданием своим, пробужденный внезапным испугом, когда пламя объяло уже весь потолок, и, наконец, разгоряченный и расстроенный ямайскою подругой: все это вместе обратило бедного Христиана в совершенное подобие бакалавра, лишило временно человеческого рассудка; сбежавшийся на пожар народ, видя человека в такой необычайной одежде, который все еще метался как угорелый, воображая, что он горит, счел его антихристом и злобным поджигателем; а когда Христиан вдруг в порыве отчаяния кинулся в объятый пламенем дом, умоляя всех о спасении партитуры, - то, не зная такой женщины в Сумбуре и не понимая, чего он хочет, его выхватили из огня за полы черной хламиды и передали в руки охранительной власти. Христиан упал в совершенном изнеможении, и городской, которому он отдан был на руки, стерег его в продолжении пожара, точно как земский караул стережет неприкосновенное до полицейского свидетельства мертвое тело, то есть

Христиан лежал на земле без чувства, а городской сидел подле и зевал по сторонам, покрикивая: "пошли прочь! чего не видали? Не подходить!"

Вслед за концом пожара, который вскоре был потушен и большой беды не наделал, городничий стал отдавать частному приказание о "произведении следствия", как вдруг несчастный гробовщик повалился ему в ноги с горькой жалобой на своего постояльца, который денег не платит, ночной музыкой всех выживает из дому, ворует заказанные к сроку гробы, как доказывает уцелевшая еще крышка прокурорского тулупа, и, наконец, поджигает дома. Доводов этих было бы, конечно, достаточно, чтобы взять Христиана до времени под стражу, но один взгляд на положение его и подавно показывал необходимость подобной меры. Пришедши несколько в себя, он сидел на земле с диким, расстроенным лицом, ревел по временам и завывал, а потом писал на песке пальцем крючки и хвостики с круглыми головками. На все вопросы и допросы он отвечал отрывками из своего *заупокою*, утешал предстоящих тем, что помнит все

вступление наизусть и напишет его снова, а между тем отмахивался руками от каких-то докучливых видений.

— А, чёртики показались,- сказал городничий, знакомый уже с подобными случаями.- Ну, так ведите его в больницу Приказа.

Городовой и пожарный взяли Христиана под руки и повели его. Он переставлял ноги как послушное, но глупое дитя, обнял одной рукой городского и повис на нем всею тяжестью своею; хламида волочилась сзади по земле, верный Аршет не отставал; встречные уличные мальчишки с любопытством забежали вперед и заглядывали арестанту в глаза, а двое из них проводили Христиана до самых ворот больницы, лежавшей за городом; это были именно какой-то найденыш, знаменитый игрок в козны, которого мещанство содержало как богоугодное дело на свой счет, чтобы потом отдать в зачет в рекруты, и кантонист, состоящий на пропитании родителей и представляющийся нам в выслуженной амуниции своего отставного отца. Затем, не взыщите за неказистый облик пожарного служителя; он, как и все товарищи его, вы-

бран из числа *неспособных* батальона внутренней стражи; поэтому и рожа у него самая *неспособная*.

Итак, между тем как Харитон Волков, вероятно, давно уже прибыл благополучно в отчий дом и наслаждался всеми удобствами домашней и столичной жизни – вот какая участь постигла друга его, Христиана Виольдамура!

С вечера не беспокоили Христиана в больнице, а оставили в приемной до утра, но зато утром обмыли, одели и сдали на руки фельдшеру горячечной палаты, а вскоре собрались и господа ординаторы. Больница, вновь устроенная на счет завещанной одним богатым купцом суммы, была как новенькая, в весьма хорошем положении, в чем читатели могут наглядно убедиться. Воспользовавшись редким, но тем более приятным явлением этим, сочинитель картины не хотел представить читателю печальный вид обыкновенной городской больницы, а выставил ту, о которой мы теперь говорим, в настоящем ее виде. Христиан, который лежит перед нами зажмурившись, отвернулся от фельдшера и яв-



ным образом несет бессвязную чепуху, бредит, а какого роду бред и горячка его одоле-ли – это также ясно обозначено на доске у изголовья Христиана, хотя фельдшер наш, не природный латынянин, привесил какой-то крючок к последнему слову вместо обыкновенного латинского *s. Delirium tremens* – называется по-русски белая горячка, или, еще яснее, горячка с перепоею. В Сумбуре говаривали в таких случаях просто: "он допился до чертиков" – выражение вполне основательное, потому что больной в болезни этой всегда почти видит безобразных зверьков и чертенят, которые отовсюду его окружают, преследуют, лезут под одеяло, прыгают по полу и садятся ему на нос. Вот до каких светлых видений дожил Христиан Христианович, вот какие невинные мечты его теперь занимают!

Окружающие его врачи, как видно, принадлежат к трем различным школам и, не забывая друг о друге, занимаются каждый своим предметом. В середине плотный аллопат, который рассматривает и обнюхивает снадобину довольно приличных такому важному случаю размеров; надобно полагать, что если

выпьешь ее, то средство не останется без какого-нибудь действия; кастрюля, в которой варили мешаницу эту, почернела, а цедилка сторела, потому что туда положено было на всякий случай, для большей уверенности в действии, всякой всячины. Доктор надеялся сделать этим вредное безвредным и усилить действие полезного. При всем том маленькое сомнение смущает почтенного доктора: он нюхает, и ему кажется, что микстура как-то слаба, ревенем пахнет, и нашатырем также, и горькими травами, и сладкими, и кислыми, и солеными, но все как-будто еще чего-то недостает. Насупротив его сидит человек, более доверчивый к силам природы, человек, который полагает, что великанскою бутылкою товарища его можно исцелить или уморить целую армию; человек, одним словом, поставивший четыре сткляночки на ладонь и рассматривающий их в микроскопе. Кажется, они выставили снаряды свои назло друг другу и во всяком случае менее занимаются большим, чем этими плохими игрушками. Но чтобы спасти Христиана от таких крайностей, от бесконечно малого и бесконечно великого,

явился сам старший врач больницы и прописывает величину соизмеримую: два ушата воды и полпуда льду. Старший врач – отчаянный идропат; у него вода отвечает за все, дай бог только, чтобы он сам за нее мог в свое время дать ответ. А если справедливо, что господа эти, всякий своим путем, действительно достигают до одной и той же цели, то надобно признаться, что природа или бесконечно услужлива, или же непоколебима на пути своем, и вопреки всех противодействий достигает потребности своей всюду, где это по законам ее возможно.

Лед, кровопускания и мушки с принадлежностью, а затем опий сделали свое дело, как по крайней мере врачи наши полагали, и Христиан начал оправляться. Не станем спорить о том, сколько средства эти принесли вреда или пользы и лучше ли, хуже ли было бы теперь больному, если бы его просто оставили в покое, но скажем только, что продолжительное пользование в больнице Приказа, строгая диета и, наконец, сотоварищество двух соседей по кроватям, допившихся до чертиков, привело выздоравливающего в со-

вершенное отчаяние. Вышедши утром на заре из палаты своей в коридор, Христиан вдруг услышал знакомый ему лай и визг – вся душа в нем запрыгала, и опрометью бросился он к круглому оконцу, сделанному для очистки воздуха. Аршет, тощий, голодный, взвивался на дыбы перед окном, вертел хвостом, выл и лаял от радости и умиления. У Христиньки слезы навернулись на глаза: он вспомнил в одну минуту все прошлое – родину, отчий дом, благополучные дни в Малой Болотной – тоска по родине одолела его в высшей степени, и он, ни о чем более не размышляя, кинул в окно чубарое байковое одеяло, которое было у него в походе этом на плечах, и сам вслед за ним осторожно спустился из окна. Вылазка эта требовала некоторой ловкости и смелости, потому что тесное окно было довольно высоко от земли и Христиану пришлось спускаться из него задом без оглядки, но все это совершилось благополучно и только после долгих объятий с единственным другом своим Христиан, осмотревшись хорошенько, увидел, что он попал не на улицу, а на двор, обнесенный превысоким забором, и что у ка-

литки сидел сторож. Сердце Христиана замерло: сидя на корточках, он стал жаться в угол от страха, но понемногу рассмотрел, что добрый сторож также сидит прижавшись к углу, обняв свою сторожевую дубинку и уткнув нос в колени. Положение это Христиану показалось подозрительным, он стал всматриваться посмелее и убедился, что сторож спал богатырским сном. Так-то смирных и спокойных Сумбурцев снаружи города оберегали козлы, поселившиеся в упраздненных будках – снутри сонные сторожа, и город, благодаря бога, все еще благополучно стоял на своем месте. Христиан с Аршетом спокойно прошли мимо караула: чистое поле и свобода показали им раем. Аршет, по обычаю своему, пошел ходить на кругах около своего барина, а этот, вышед из душной больницы после тяжелой болезни на свежий воздух, гонялся как школьник за Аршетом, не заботясь о том, что был без обуви, что потерял туфли свои во время вылазки, что у него на голове колпак, а на плечах чубарое шерстяное одеяло. В этом наряде готтентотов Христиан прошел по всему городу; но как было еще очень рано, то он и

не встретил никого, кроме артели плотников, шедших на работу.

Христиан нашел жилье свое в жалком положении: окна выбиты, дверь выломана, все обгорело, и разные обломки на полу. С отчаянием смотрел он на расстройство этого последнего убежища своего и, трагически сложив руки, выставив ногу, оглядывал нагие стены; потом схватил с головы колпак, бросил его на пол, окинул мантию свою диким взглядом, между тем как услужливый Аршет, желая показать, что он не позабыл еще всех штук своих, кинулся опрометью, подхватил колпак в зубы и, кобенясь как пристяжная, подскочил к своему господину, встал на дыбы и подал ему поноску. Христиан опять кинул колпак, сказав: тубо – и Аршет, поджав хвост, прилег. В эту минуту шорох послышался в сенях. Христиан взглянул и увидел добрую свою хозяйку. Она обрадовалась ему почти как сыну и, узнав после многих восклицаний, что Христианушка голодал три недели, побежала и в самом скором времени поставила ему на стол прекрасный завтрак. Христиан принялся есть, как работник на хозяйских харчах, при-

гласив с собою за стол Аршета, и очищал все с такою поспешностию, что добрая Катерина едва поспевала поставкой нового продовольствия.

Но минуты наслаждения вообще коротки на свете, а тем более если спешишь вкусить их с такою жадностию, как теперь Христиан. В полчаса он наелся и напился досыта и стал поневоле размышлять о том, что же наконец теперь начать и куда деваться. Хозяйка обрадовала его вестью, что часть достояния его была спасена от пожара, и Христиан мог на первый случай как-нибудь одеться. Сидеть нагим в погорелой каморке, обернувшись в больничное одеяло, и не знать, чем прикрыть наготу свою и где взять кусок черствого хлеба для утоления голоду, предвидеть, что вскоре тебя, вероятно, выгонят даже из этой погорелой каморки – это плохо, очень плохо; в таком положении какой-нибудь сюртук и пара сапогов вещи драгоценные, не менее того, однако же, они не спасают ни от голоду, ни от долгов, ни от скитальческой жизни под заборами, ни даже от тюрьмы. Тюрьма впрочем, которая всегда казалась такою страшною

Христиану, сделалась теперь, после здравого размышления, почти целию его желаний: он не видел никакого пристанища, ни средства избавиться от положения, которое было для него нестерпимо.

Бедный и бестолковый Христиан! сколько еще суждено тебе испытать переворотов, сколько наделать глупостей, и между прочим, сколько на следующий же день внезапных ощущений радости, боязни и отчаяния!

Во-первых, Христиана посадили было в Каменный Мешок, как беглеца из больницы, который унес сверх того на себе белье и одеяло. Но идропат, довольный своим успешным лечением, простил повинившегося перед ним бродягу. Возвращаясь с этой проходки, Христиан встретил в доме гробовщика такую радостную весть, от которой чуть снова не кинуло его в белую горячку, к которой Христиан, по сложению своему, имел большую склонность: почталион принес повестку! О, это без сомнения добрый, благородный друг Харитон Волков, который поставляет предел страданиям бедняка, выкупает его и дает ему средства немедленно возвратиться в столицу!



Не станем, однако же, говорить о золотых восхищенных грезах Христиана, который воображал, что скачет уже по почтовому тракту, когда пустился бежать с такою поспешностию на почту, что хозяин его, гробовщик, едва мог за ним угоняться. Осторожный гробовщик не хотел упустить верного случая получить должок с постояльца, и потому, поздравив его таким вежливым образом, как давно с ним не говорил, схватил в ту же минуту шляпу и просил позволения проводить милостивца на почту. Но увы! повестку Христиану прислали, а денег ему не выдавали; уже Федул и заика, которые оба в убыток торговать не намерены, предупредили и гробовщика и самого Христиана, успели исходатайствовать запрещение на присланное движимое имущество Христиана. Посылку разделили на займодавцев, и бедному Христиану по усам текло, а в рот не попало, и даже долги далеко не все еще были уплачены. Харитон писал, что отец его, как человек небогатый, при всем желании своем не может выслать более; не упоминал о старом долге Христиана, извинялся, надеялся, что Христиан примет и этот малый

дар дружбы и распорядится хозяйственным образом, обрадует их скорым приездом, и прочее. Когда бедный Христиан сидел, повесив нос над этим письмом, и горько плакал, то перед ним внезапно предстал, ухмыляясь, человек, высокий, сухой и, кивая приветливо головой, поздравлял с приятными новостями, надеясь теперь на уплату должка ... это был Краусмаген, до которого теперь только дошла весть о прибывших из столицы богатствах Христиана и который был горько разочарован в своей тщетной надежде. Видно, Федул и заика жили с почтмейстером в более тесных связях, чем фортепианный настройщик! Христиан скорбел о новом ударе, при всем том, однако же, он выиграл через посылку эту немало и обязан был Волкову за временное свое спасение: получение из столицы денег придавало в Сумбуре много весу получателю; доверие к нему в таких случаях всегда подымалось на несколько процентов; а как гробовщик получил часть долгу, то согласился оставить еще у себя в доме Христиана до получения им вторичной подмоги, а прочие займодавцы стали менее теснить бедняка, полагая,

что он еще не вовсе несостоятелен.

Увидев, что делать тут больше нечего, Христиан, пожав плечами, принужден был удовольствоваться и этой временною льготою, хотя не знал, как выпутаться из мотни, в которую влез. Со скуки и отчаяния он пошел пройтись в сумбурский знаменитый сад и долго ходил там по гладеньким дорожкам, придумывая, как бы найти такой же ровный и гладкий путь из бездны, в которую, как он полагал, судьба его повергла. Но пути жизни, даже самой счастливой и безмятежной, не говоря уже о жизни нашего героя, далеко не так убиты и усыпаны, как дорожки сумбурского сада, которым щеголял город и на который голова, в угоду публики, отпускал значительные городские деньги. На пути жизни беспрестанно встречаются пни и кочки, бесконечно разнородные, но все-таки это кочки. Одну из таких кочек встретил и Христиан во время прогулки своей, встретил не только на пути жизни, но и на гладенькой дорожке сумбурского сада, вероятно, именно на той точке, где путь жизни его и дорожки этого сада сходились. Объяснимся.

Я упомянул уже о сумбурских поминальщицах, или могильщицах, которые держат у себя постоянно черное платье и накалывают черный чепец каждый раз, когда ожидают чьей-либо в городе кончины, которые не упускают ни одних похорон и услужливо являются распоряжаться в это время хозяйством, едва только человек испустит дыхание свое и в доме, по сумбурскому обычаю, начнется плач при открытых дверях и окнах; я бы мог вам рассказать также кое-что о всеобщих распорядительницах на свадьбах и заметить, что большая часть зловещих этих ворон держали веселый подбор платья, снаряжаясь то в черное, то в цветное, смотря по тому, смерть ли с кем в городе приключилась или свадьба, и каркали то на тот, то на другой лад; но, оставив все это, обратимся теперь к третьему разряду Сумбурок, разряду, который, впрочем, нередко перемешивался с одним из первых и состоял из свах. Вдовы, называвшие себя сиротами, преимущественно служили вольноопределяющимися в этом полку, который действовал всегда только рассыпным строем, а некоторые почтенные замужние

женщины приписывались к нему по долгу и обязанности службы своей, постоянно отыскивая невест и женихов для своих подчиненных или для начальства. И вот какую кочку встретил Христиан наш в саду. Степаниду Павловну, которую вы, конечно, знаете или по крайней мере слышали об ней, потому что ее знают все, и не только в Сумбуре, а гораздо далее, спросите хоть в Нижнем, так услышите, что и там ее знают. В Нижний она ездит постоянно на ярмарку, потому что там, как говорит, схоронила мужа своего; и там она, отслужив по нем память, успевает каждогодно угождать многим господам, устроив будущую их судьбу. Она так знает свое дело, что, приехав в чужой город к чужим людям, не менее того тотчас же пускается в свое ремесло и большею частию довольно успешно. В сутки узнает она все, что ей о ком знать нужно, потом смело, хотя и очень осторожно и таинственно, приступает к избранному ею предмету, обольщает его намеками на страстную любовь девицы, которой он, может быть, досель и не видал или не заметил – и если не встретит положительного отпора со стороны

жениха, то является под каким-нибудь благо-  
видным предлогом в дом невесты, выставля-  
ет как улитка щупальца свои и вертит делом,  
смотря по обстоятельствам. После этого объ-  
яснения немудрено вам покажется, что она в  
целом в Сумбуре управляла подобными дела-  
ми совершенно как дома в своей семье и что  
поэтому там привыкли говорить: Степанида  
Павловна выдает такую-то за такого-то, не  
упоминая вовсе о родителях жениха или  
невесты, а называя прямо главнейшее дей-  
ствующее при этом лицо.

Степанида Павловна перешла сперва Хри-  
стиану Христиановичу дорогу, на это были у  
нее свои причины, а потом как-будто вдруг  
узнала его, очень ему обрадовалась, много  
расспрашивала о здоровьи и обстоятельствах  
его, а он спроста не мог надивиться, нарадо-  
ваться этому небывалому участию женщины,  
которую встречал когда-то в некоторых до-  
мах, и сам пустился в откровенные объясне-  
ния.

— А есть одна особа,- так продолжала  
она, — есть одна особа, Христиан Христиано-  
вич, которая очень вами интересуется; очень

и много об вас спрашивает, право; особа почтенная, молодая, павой ходит, очами поводит, а ни на кого кроме вас и глядеть не хочет. Что за красавица, что за разумница, скопидомка, хозяйка, распорядок знает, и таки не без позолоты, стало бы и на двоих, не только на одну! И уж мало ли за нею ухаживают, мало ли вот хотя и меня упрашивают: матушка Степанида Павловна, ручки, ножки, говорят, расцелую тебе – вот ей-богу, не дай господи с места сойти, говорят – только покриви, говорят, за нас душой, а я: нет, сударики мои, уж скажет ли, нет мне вот Христиан Христианович привет да ответ, так это кавалер отборный, пригожий, для него, говорю, постараться можно – а вы что, с вами что мне? много вас тут!..

Все это проговорила Степанида Павловна таким осторожным двуязычным голосом, что могла, по обстоятельствам, сделать из слов своих все что угодно: приступ был по-видимому решительный и вел прямо к делу; но если бы Христиан не подался нисколько, то она поворотила бы слова свои в шутку и уверила бы его, что ему-де таких невест и во сне не ви-

дать; но как Громобой наш, подперши бороду локтем от изумления, призадумался, то Степанида не медля ни минуты напустила на него всю стаю гончих своих, приударив языком во все лады и на все напевы. Зная слабейшую сторону Христиана после неограниченного самолюбия его, то есть крайность, в которой он теперь находился, она прямо перешла к тому, что особа, в которой столько добродетелей, завтра же выручит своего возлюбленного из беды, уплатит все долги его и оденет кругом ровно куколку выпускную, и будете вы с моей сударушкой жить да поживать, добра наживать – а ты, красавец, тогда и меня, сироту бесприютную, не забудешь, век станешь помнить и благодарить, бога за меня молить.

Христиан, скорчив такую рожу, будто ему пришлось лезть в петлю, еще-таки призадумался, не зная что делать при таком неожиданном приключении. Они остановились под деревом: умный Аршет присел подле, прислушиваясь, и в ожидании ответа вытянул хвост по земле и вытянул вперед шею, не сводя глаз со своего барина; Аршет не обращал никакого



внимания на выставленную у дороги позади его черную доску и грозную надпись ее, которая строго запрещала ему вход в эти Елисейские поля, устроенные заботливым начальством собственно для людей; плотная барыня, прохаживавшаяся в отдалении с мешком и с огромным зонтиком, по-видимому одного мнения с Аршетом и привела с собою целую тройку подружек, родственников Аршету племен: один у нее пудель стриженный, другой нестриженный, а третий какой-то голован вроде бульдога. Еще подальше видите вы знаменитый храм, выстроенный на месте пруда, где потонул пьяный мужик. Сумбурский помещик, нечасто приезжающий в город, обошел сад посмотреть: все ли еще стоит на своем месте; остановившись перед храмом, над которым висит солнце с расписанным человеческим лицом, помещик наш любителю крылатым трубачом, для которого по-видимому собственно храм этот построен, потому что трубач со стоялом своим занимает все место внутри храма, так, что тут живому человеку некуда приступить. Но обратимся к нашему Христиану: он все еще стоит в разду-

мьи, Степанида продолжает нашептывать ему сладкие речи, а он слушает и, наконец, увлеченный новостью своего положения и неожиданною помощью, ударил по рукам.

Кто же такова невеста его и откуда она вдруг взялась? Каким образом влюбилась в несчастного Христиана?

Невеста эта молодая вдова Ахтимнева, которую называли обыкновенно в Сумбуре просто ахти-мне. Она помещица не совсем дурного имения, но слухи насчет смерти мужа ее носились самые зазорные. Дело было темное. Мужа схоронила она лет тому шесть, и в продолжении этого времени вдовушка наша вела себя не так, чтобы заставить Сумбурцев – этих строгих ценителей нравственности – позабыть прошлое, а напротив, напоминала о себе почти ежедневно в позорном временнике Сумбура. Христиан, правда, и сам слыхивал прежде кое-что про эту ахти-мне, но, конечно, и во сне не видал, чтобы она сделалась ему столь близкою. Как утопленник Христиан ухватился нынче в отчаяньи за соломинку – и читатель, конечно, предвидит, что это последнее усилие его не спасет. Голова, расстро-

енная белой горячкой, сердце, измученное неудачами и бедствием всякого рода, отчаянное положение, из которого не было никаких средств выпутаться,- все это вместе заставило Христиана проглотить пилюлю, которая сверх того еще была вызолочена грубою, но удачною лестью.

На другой же день Христиану назначено было свидание с невестой, потому что дело было спешное с обеих сторон; ему грозили тюрьмой, а у ней был свой домашний спех. Христиан, решившись на такое спасительное дело, по-видимому ожил, повеселел, старался расписать будущность свою по возможности веселыми красками и, явившись к невесте от нетерпения и любопытства получасом ранее назначенного, наделал было большой тревоги. Ахтимнева, как приезжая, занимала в Сумбуре одну только небольшую комнату и по тесноте помещения не любила принимать посетителей иначе как поодиночке. Вот почему Христиан внезапным и преждевременным приходом озадачил так невесту свою, которая спешит ударить по рукам, чтобы его скорее ослепить и задобрить; бедный Христиан пре-

неловко принимает руку ее, глядит каким-то дурачком, улыбается с какою-то невольной ужимкой. Степанида Павловна также пришла заблаговременно, принарядившись очень молодо, но никому не помешала, а напротив, много способствовала к тому, чтобы скрыть замешательство хозяйки и не показать расплоха, вот почему она и стоит с прелукавым взглядом за стулом невесты, как будто прикрывая или загораживая собою что-нибудь, хотя, кажется, за нею нет никого – а Христиан устави́л неподвижные глаза свои как щука, зря прямо перед себя, и ничего не видит, не замечает. Будьте благонадежны, в свое время заметит.

Виольдамур истинно не успел опомниться, полагал, что он все еще думает, решиться ли ему или нет, размышлял, что начать, если отказать – как был уже обвенчан и внезапно сделался отцом большого семейства. Пышной свадьбы Христиан не ждал и не желал, а потому и был доволен предложением невесты, чтобы уехать, не говоря никому ни слова, из Сумбура, обвенчаться в соседнем селе на половине пути и проехать прямо в Марушкино,

в поместье невесты. Долги Христиана были уплачены, разрешение на выезд получено; итак, чета наша собралась не медля в дорогу и поехала. При укладке и других распоряжениях много помогал какой-то близкий родственник невесты, отставной штабс-ротмистр. Он же, как родной, ехал в одном экипаже с невестой, а Христиан, для приличия, особо, со свахой. Степанида Павловна во всю дорогу утешала его будущим благополучием. Через несколько часов приехали в село, где, к удивлению жениха, все уже было готово и чету нашу обвенчали. Христиан сам не мог постигнуть, как это сделалось и что с ним стало – и правду сказать, не к лицу как-то ему было звание женатого человека и не пристало, как корове седло. К вечеру приехали в Марушкино – и Христиан увидел несколько запущенный господский домик и другие хозяйственные пристройки, которых хозяином назваться было ему довольно приятно. В первый раз после бедствия музыка пришла ему опять в голову, и он вообразил, что теперь исполнятся все золотые грезы его, осуществятся все мечты; теперь, когда он будет жить безза-

ботным помещиком, посвящая себя вполне своему искусству. Христиан знал, что у супруги его есть дети от первого мужа, с которым она впрочем жила очень короткое время, но не позаботился даже или, лучше сказать, не умел спросить, сколько их, а слышал только, что они остались в деревне. Вошедши под руку с супругой в комнаты, между тем как братец нес шаль ее и шляпку, бедный Христиан собственными глазами своими убедился, что и то и другое было в точности справедливо: шестеро ребят обоего полу, всех возрастов, начиная от девяти лет до девяти месяцев – рассчитывайте тут как хотите – встретили маменьку, которая не успела еще перецеловать их, представляя поочередно папеньке, как Христианом внезапно овладело какое-то ужасное чувство. Он остолбенел от ужасу и в страшном волнении спросил: "Как, все, это все ваши?" – "Да, все,- отвечала она, и морщины начинали сбегаться на ясном челе ее,- все; что же вы, что ли, их кормить будете? О чем вы беспокоитесь?.." Бедный Христиан все еще не мог опомниться; он схватил себя в отчаянии за голову и, вытаращив глаза, начал

спрашивать, указывая на всех поочередно: "И этот, и эта, и этот... все ваши?" Кормилица показала в дверях и вынесла последнего, шестого; больше видно не было. Аршет смотрел каким-то дураком на полную избу ребят и, мотая ушами, будто хотел стряхнуть муху, прятался за своего господина. Явление это кончилось тем, что супруга скрылась в свои комнаты, хлопнула за собою дверь, а Христиан остался в зале. Можете себе представить, каким он дураком расхаживает из угла в угол, между тем как дворня суетилась около него, пробегая взад и вперед, то к барыне, то от барыни, не обращая никакого внимания на нового хозяина; по временам только, когда беготня утихала, так называемый человек высывал осторожно голову свою из передней и рассматривал приезжего. Прошло часа полтора; хозяйка не показывается, братца не видеть, Степаниды Павловны даже и не слышно. Смерклось; в покои барыни давно пронесли самовар с принадлежностью, а наконец и свечи, при чем Христиан был простым зрителем и видел только, как мальчик пролетел мимо его иноходью и, съехавшись в дверях

нечаянно с девкой, которая насунулась из-за угла, ударил ее огромным медным шандалом в лоб так, что подсвечник покатился, а сальная свеча свайкой уткнулась в пол; девка почиталась с мальчиком за это, вовсе не стесняясь присутствием хозяина-гостя, двери опять затворились, и все стихло. Виольдамур решительно не знал, что делать и как к чему-нибудь приступить. Положение его было так странно, так ново для него, что он не умел в нем найтись. "Нельзя же мне век сидеть в этом глупом положении,- думает он,- невероятно даже, чтобы мне пришлось ночевать здесь, как на почтовой станции",- а между тем он и не понимал, какая тут может быть развязка и чем все это может кончиться. Не хотел он идти к дражайшей половине своей: он не привык еще к мысли, что он действительно женатый человек и что жена его тут, через две комнаты от него; он по чувству смотрел на все, что его окружало, как на чужбину; сватовство и женитьба казались ему каким-то несвязным, бессмысленным сном – он упал в изнеможении на диван, закрыл глаза, в ушах у него зазвенело, и несвязные образы



летали вокруг него впотьмах. Вдруг в глазах его посыпались искры, его обдало светом, и знакомые чертенята потянулись перед ним вереницей, один гаже и страшнее другого. Бедняку показалось, что он в белой горячке и сидит еще в больнице под чубарым одеялом, где каждая картина рисовалась в глазах его исковерканным чёртиком нового склада и строю; Христиан вскочил в бешенстве, срывая платок с шеи – и перед ним стояла, сладко улыбаясь, Степанида Павловна со свечою в руках. "Что же вы это, Христиан Христианович, видно, устали с дороги, присели себе в уголок,- разве так молодые делают на новоселье? Пойдемте, батюшка, да положите с супругою-то по поклону перед образом, помолитесь господу богу, да и милости просим: не чужой же вы тут человек, слава богу, домой чай приехали, а не в гости ... смотрите-ка, ведь домик хоть куда, не обманула я вас, батюшка, не бойтесь, а завтра и ухожи посмотрите, полюбуетесь, и деревеньку обойдете, и поля объедете... Что же вы так не ... невесело смотрите?"

Виольдамур ничего не слышал, а видел

только, глядя прямо в глаза Степаниды Павловны, старых врагов своих, чертей разного покрою, которые дразнили его страшными и омерзительными ужимками. От этого лицо его приняло такое страшное выражение, что Степанида, хоть она была и не робкого десятка, перекрестилась наконец и, отступая задом, вышла тою же дорогою, которой вошла, и унесла с собою свечу. Хозяин остался опять в потемках, но все еще стоял, как настороже против неприятеля, вытянувшись, стиснув кулаки, протянув шею и поворачивая голову медленно то в ту, то в другую сторону. Немного погодя двери в залу притворились из гостиной плотно и замок щелкнул, а из передней вскоре затем вошел человек со свечой, потом другой с чаем, там третий с одним прибором; накрыли в зале столик и подали ужинать; между тем девка едва не увязла в дверях с огромной периной, как с возом сена, протащила ее, однако же, и понесла в кабинет, где принялась взбивать ее и стлать постель. Долгое время все это ходило вокруг Христиана как китайские тени, наконец вопрос человека: "Кушать будете-с?" – пробудил

его несколько, он прошелся по комнате, вышел освежиться на воздух, услышал там отрывок разговора между дворовыми людьми, в положении его вовсе не утешительный, воротился в комнаты, заперся в кабинете и кинулся, накрыв лицо руками, на одинокую постель.

Утром Виольдамур проснулся от стуку у дверей кабинета; он вскочил и стал оглядываться, чтобы опознаться, где и что он – перед ним диван, на котором постлана постель, под окном стол, пара старых стульев, целая стена уставлена книгами на полках, над диваном мужской портрет, изображавший, как казалось, покойного хозяина, – и все это покрыто густою пылью и паутиной. Между тем кто-то нетерпеливо ломится в запертую дверь; Христиан отпирает – входит довольно ошипанный малый и на вопрос: что нужно? отвечает спокойно, проходя в угол к окну: "Да барин трубку спрашивает, гневается, что долго не подаешь, а тут вы изволили запереться". Лакей взял трубку и ушел. Вскоре пришел другой и подал Христиану чашку чаю.

Слово "барин" ошеломило Виольдамура

как обухом. "Барин", - подумал он, и простофиля наш теперь только стал догадываться, что самому ему, конечно, в доме этом барином не бывать и что нынешнее похождение его не иное что, как подготовленная самого дурного разбору шутка. Христиан расвирепел; он был в состоянии снести в эту минуту с лица земли весь дом и всю деревню супруги своей и не помня себя с проклятиями кинулся в другие покои. Двери в гостиную разлетелись вдребезги; пробежав в одну секунду еще одну комнату, Виольдамур застал все новое семейство свое за утренним чаем. Супруга ахнула, взглянув на исступленного мужа своего, и кинулась под защиту братца; дети с визгом рассыпались во все концы, а ротмистр встал, а как лютый Христиан сам первый пошел на него в отчаянную атаку, то приземистый, широкоплечий братец вышвырнул жиденького немца в один толчок из комнаты, припер дверь и заступил ее ногою. Между тем люди сбежались, и штабс-ротмистр, ухватив трость покойного первого супруга сестрицы своей, вышел расчесться со вторым супругом ее, позвав еще с собою двух человек. Христиана выпро-

водили, или вытолкали на крыльцо, велели в ту же минуту закладывать бричку, а штабс-ротмистр остался с дубиной на часах при изгнаннике; между тем пасынки его показывали ему из-за дядюшки языки, а успокоенная супруга с удовольствием поглядывала на сцену эту в окно. Вскоре выкинули Виольдамуру узел вещей его и шляпу, которую Аршет немедленно подхватил в зубы, упросили гостя-хозяина сесть в бричку и повезли. Бешеная минута прошла для Христиана, он остыл и дрожал только всем телом. Растянувшись в изнеможении на мягком сене, покрытом ковром, пролежал он несколько часов почти без чувств.

Наконец бричка остановилась, кучер слез с козел и остался караулить Христиана, а дворовый человек, сидевший также на козлах, хлопотал о наемке сменных лошадей: распоряжение чрезвычайное, которое показывало, что Виольдамура хотели доставить куда-то не теряя времени, не кормя лошадей. Христиан приподнял голову, глядел, припоминал – церковь как будто знакомая, а где и когда видел ее, не упомнит. В это время крестьяне, подо-

шедшие к бричке, глядели с любопытством на проезжего и также, по-видимому, его узнавали. "Ведь это молодой,- сказал один кучеру,- что вчера у нас с барыней вашей венчался?" – "Он".- "Что же так он не успел приехать домой, опять едет?" – "У нас, брат, так,- отвечал кучер, собирая вожжи и ударив лошадь ни за что ни про что кулаком по зубам, – у нас все так, привезем да отвезем. Лих больно, не годится нам такой, буянить стал, с барином в драку полез было – вот и прокатим его домой, коли дом есть свой, да и свалим, а не то высадим где у забора..."

Христиан опять уже лежал спокойно навзничь и от солнца накрыл глаза черным шейным платком. Он слышал все это, глядел сквозь платок как сквозь сито на яркое солнце, и между светлыми искорками опять стали плясать у него перед глазами чертенята. Кучер супруги его, держа лошадей своих в поводу, подошел сбоку к бричке и спросил: "Что ж, барин, на водку будет, что ли? Вишь,- продолжал он, отходя в сторону,- спит, не бойсь..." Потом закричал на лошадь, которая шла очень спокойно, ткнул ее дугой в морду, спро-

сил, когда та отшатнулась: "Но, чего испужалась, не видала, что ли, дуги?" и отправился дальше; ямщик с другим провожатым сели на козлы, и бричка покатилась.

Прошло еще несколько часов, и бричка опять остановилась; лакей обернулся и спросил: "А куда прикажете ехать?" Виольдамур привстал, чтобы осмотреться и узнать, о чем его спрашивают – видит вокруг себя чистое поле, выгон, перед собою как будто знакомые кровли, а подле сбоку одинокую будку и в ней белого козла, с которым ямщик здоровался, снимая шляпу и называя его Василием Васильевичем. Виольдамур догадался, что его привезли в Сумбур, вышел из брички, не говоря ни слова, и поплелся пешком, не зная и не думая о том, куда он идет.

Следить ли нам теперь на этом последнем пути отчаяния за невозвратно погибшим Виольдамуром? Томительное однообразие этого пути, нисходящего прямою дорогою к пропасти, в которой мы должны увидеть бедного Христиана, заставляет нас уклониться от этой тяжелой обязанности. Под предлогом, что не желаем утомить читателя рядом печальных

и возмущающих душу картин, мы бросим только сострадательный взгляд на ту, которая представляет нам жалкого героя повести нашей на последней и низшей степени человечества. Все убито в нем, кроме одних только остатков животной жизни, и самая душа без ведома хозяина подвигает еще кое-как ржавые колеса разрушающегося снаряда. Каждый член и каждая мышца тяготеет долу, утратив самостоятельную жизнь и жизненное напряжение, одна только левая нога удерживается в своем положении своей силой и показывает, что перед нами сидит, вероятно, еще живой человек, правая вся отвалилась и лежит на земле; одна рука покоится на Аршете, другая уперлась на колено и в свою очередь слабо поддерживает голову, которую плеча не могут уже снести и потому предоставили законам тяготения неодушевленных тел. Печальная картина поздней осени окружает помещанного; развалившийся тын – последний его приют; лохмотья покрывают наготу; омерзительное утешение многих несчастных земляков наших лежит подле боку, но и это утешение пришло уже к концу; словом, все кон-



чено. Один Аршет может еще возбудить в нас какое-нибудь благородное чувство; неразумная тварь, которая с участием положила лапу на своего господина и глядит ему в глаза, в эту минуту, конечно, гораздо выше того, кому она служила десять лет с такою неизменною верностию, стараясь отблагодарить за каждый кусок хлеба посильными своими услугами.

Итак, вот в каком положении теперь перед нами Христиан Виольдамур, за которым мы следили со дня рождения его, познакомившись с добрыми старичками, родителями его, с Акулиной и большой ее ложкой, с глухим дядей, кухаркой его, с Иваном Ивановичем – и мимоходом еще со многими другими людьми. Кто ожидал прочесть роман, тот ошибся и будет сетовать: это ряд готовых картин, по которым провели мы зрителей с объяснительной статьей в руках. Может быть иные, дошедши до той картины, о которой мы сейчас говорили, усомнятся, стоил ли предмет этот резца и карандаша и стоит ли он внимания таких образованных и благовоспитанных читателей ... ответ на это мог бы

быть очень обширен; но мы постараемся сократить его в несколько строк. Строгие ценители и судьи наши, которые боятся мозолей и потому никогда почти сами не берут в руки топор или рубанок, а прогуливаются только со складным аршинчиком, присяжные судьи наши говорят, что между изящным и нравственным нет ничего общего; что цель изящного стоит сама по себе, а нравственного сама по себе. И потому если большая часть французских романов новой школы безнравственны, то есть оставляют на душе такое впечатление, от которого читатель старается как-нибудь отделаться, забыть его, потому что оно оскорбляет в сокровенной глубине нравственное чувство, выставляя его ничтожной химерой, тогда как разврат и порок, как у Репетилова водевиль, у романистов этих есть вещь, а прочее все гиль, если, говорю, это так, и ценители наши сами иногда вынуждены бывают в том сознаться,- то они отвечают: какая нужда, произведение все-таки изящно, и его должно читать, удивляться и венчать лаврами творца его.

С этой точки зрения мы, однако же, не лю-

бим смотреть на предметы; лучше станем туда, где можно собрать около себя все что есть в душе святого, нравственно-изящного и истинного: тогда мы сделаемся также поснисходительнее к человечеству, не столь брезгливыми по баловству и прихоти – тогда при взгляде на Христиана Виольдамура, даже и в настоящем его положении, он возбудит в нас не одно только отвращение, но некоторые другие, более христианские чувства. Есть народы, где целые поколения увядают прежде времени от непостижимой для нас страсти – от курения или поглощения опиума; есть народы, охотно бушующие в шумных сборищах, опившись хмелем винограда – и еще такие, которые увлекаются судьбой, опоенные вином хлебным; пьют с горя, с радости, пьют просто потому, что есть на что выпить – пьют коли не на что выпить – и, наконец, пьют запоем и пьют до белой горячки. Вы видите, что мы не выставляем вам напоказ какого-нибудь изверга; напротив, это человек самый обиходный, и пороки его принадлежат не лицу, а человечеству, или по крайней мере народу.

Но нас ждет картина еще грустнее этой и, кажется, изящнее по смыслу. Чисто поле, все пусто,- тычинка, камень, сосенка, столбовая дорога – и Аршет несется во весь дух. Куда, зачем, и где же барин его? *Аршет ищет барина своего* - вот все, что должно подписать под этой картиной: других толкований не нужно. Аршет в чистом поле ищет своего господина, и чутье ведет верную собаку все прямо, по печальной дороге, на повороте которой виден издали указательный столб. Кто заботится о пропавшем без вести Христиане, кто его ищет, кто сочувствует ему или праху его? Кто из жителей Сумбура, вспомнив, что был в городе человек, которого в былое время наперехват зазывали в гостиные – кто спросит теперь: где он и что с ним, и кто пойдет его искать? Аршет, один Аршет, и более никто; и тот делает это, как надобно полагать, только по глупости и бессмысленности своей, как неразумная тварь; иначе и ему бы до Христиана не было теперь никакой нужды.

Была поздняя осень – настала зима; повалил снег хлопьями, а у жителей Сумбура дым из труб: в городе стали топить печи, готовить

сани и забирать в долг шубы, кто у бакалейщика, кто у заики. Готовилось несколько баблов; новый предводитель, который ходил с непривычки в звании своем как в чужом кафтане, также рассудил попить и пригласить дворянство и чиновников; у кого были псаря и псы, тот седлал коней и выезжал на порошу. Между тем этот же снег засыпал на повороте большой дороги, неподалеку столба, свежую могилу и подле нее мертвую собаку. Когда морозный северяк со свистом налегал на окружные поляны и вековая сосна, по сторону дороги против могилы, кряхтела – то ни Аршет, ни барин его уже не зябли, а ветер вздымал только по временам темно-бурую шерсть верной собаки.

Из умных людей, которые, то есть, были в своем уме, никто в Сумбуре не вспоминал Христиана: это мы уже сказали; но сумасшедший бакалавр поставил на могиле самодельный крест. Виольдамура нашли уже остывшего под тыном, и потому по обычаю закопали просто на дороге, да сверх того безумный приходил иногда, когда ему чудилось, что был понедельник, среда или пятница, читал над

одинокой могилой псалтырь.

Харитон Волков, написав после долгого молчания другу своему письмо со многими вопросами о жизни его и со столичными новостями, получил его обратно, с надписью на нем: *за смертью получателя*. Акулина долго перемогалась от старости своей, но, наконец, уехала в деревню на родину умирать, потому, как она объяснялась, что там *жить* дешевле. Иван Иванович здравствует еще, обзавелся новой пуховой шляпой и охотно рассказывает выигранное дело Виольдамура со всеми происками своими и хитростями, а потом прибавляет: "Он малый был хоть куда, и на скрышке играл славно и на чем угодно; не знаю, теперь что делает, а ему уж годов двадцать пять, видно, будет".

ЗДѢСЬ ПОКАЗЫВАЮТСЯ РАЗНАГО  
СОУТА И ЗВАНІЯ ХРИСТІАНЫ  
ХРИСТІАНОВИТИ ВІОЛДАМУРЫ.





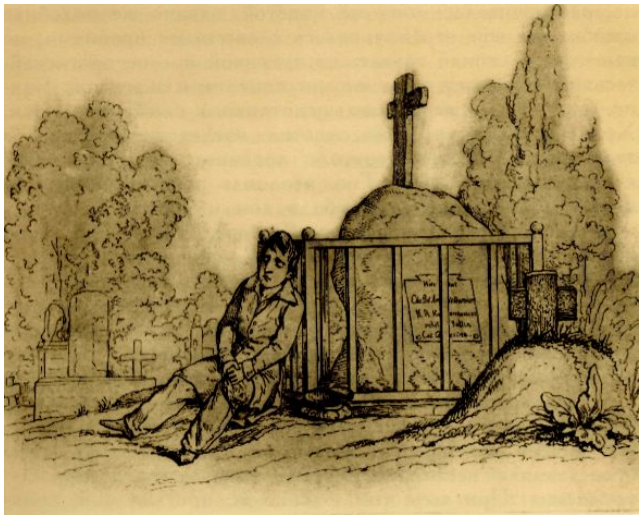
Походомя  
Христиана  
Христианова  
Вольдмура  
и его  
Армена.





















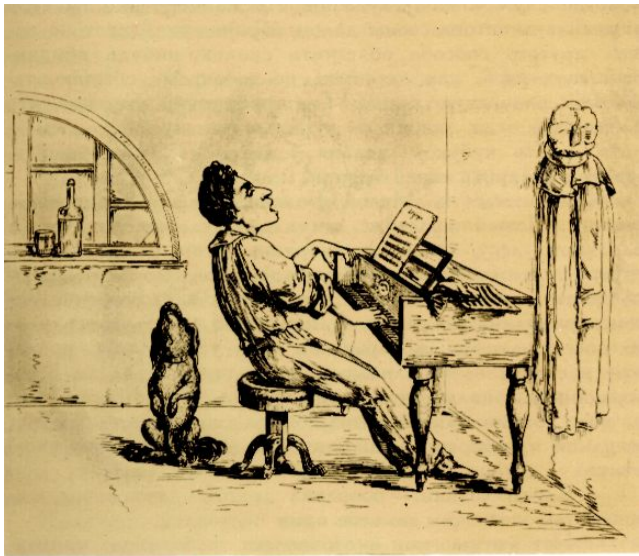




























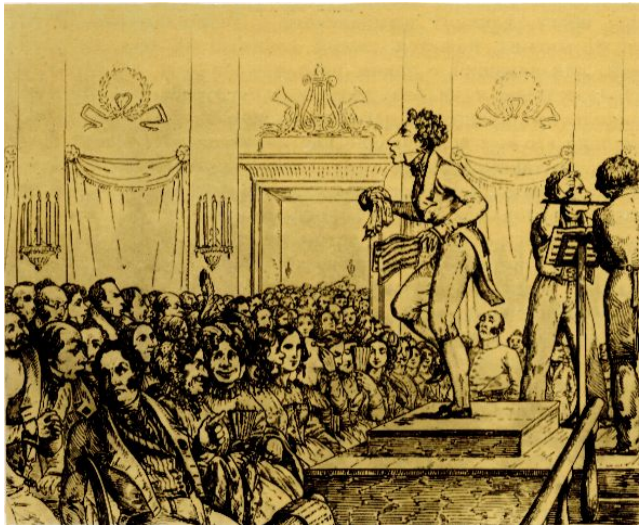


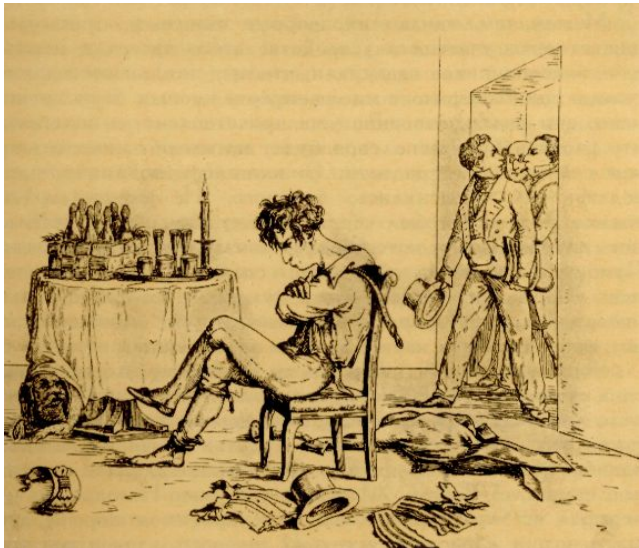






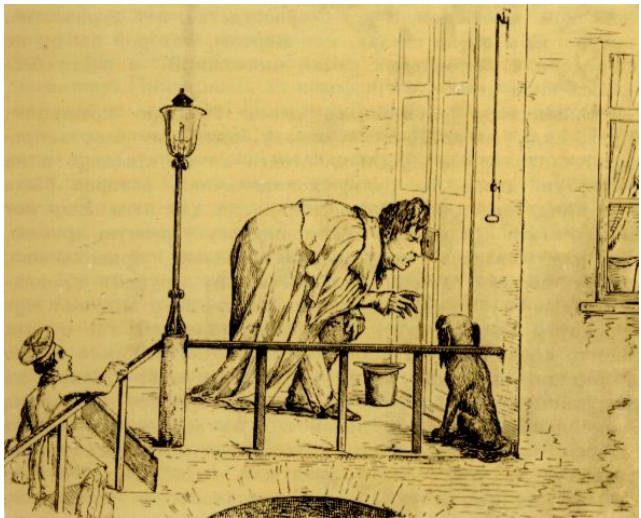










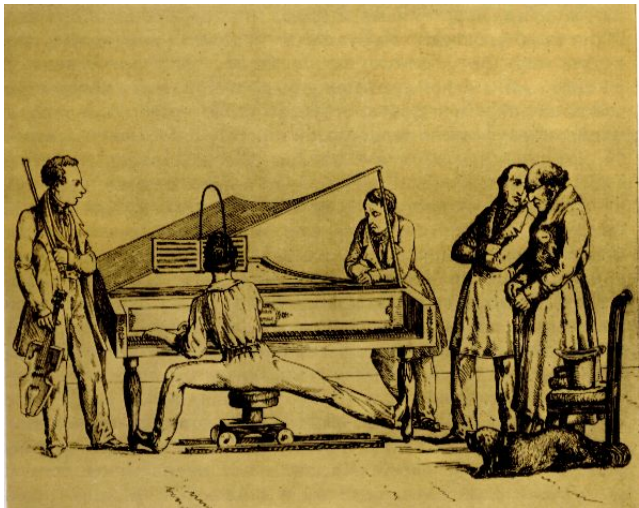








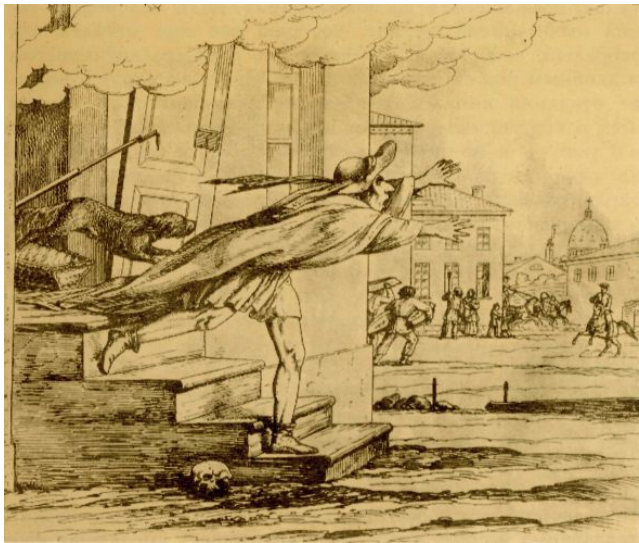






























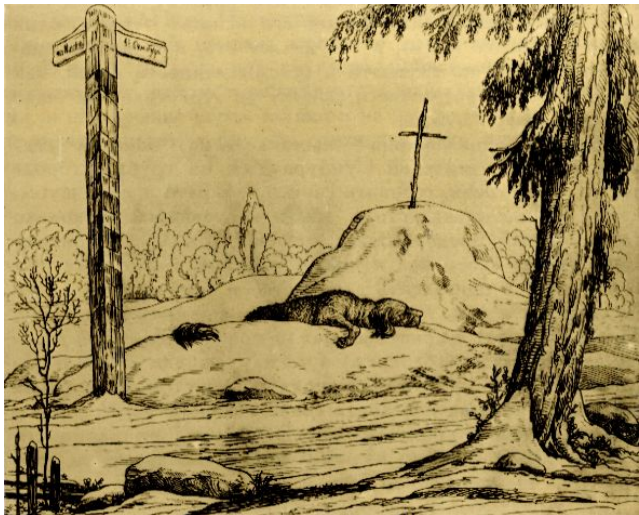




## Комментарии

Повесть впервые была опубликована в 1844 г. в журнале "Библиотека для чтения" (т. 62, No 1-2) за подписью "В. Луганский", а в конце того же года вышла отдельным изданием "С альбомом картин на пятидесяти одном листе, рисованных известным русским художником". Перепечатана в собрании сочи-





ний 1898 г. (т. X). Произведение получило весьма лестную оценку В. Г. Белинского, писавшего: "Эта повесть написана г. Луганским как текст для объяснения картинок г. Сапожникова, сделанных заранее и без всяких предварительных соглашений романиста с рисовальщиком. Г-н Сапожников рисовал свои исполненные смысла, жизни и оригинальности картинки по прихоти своей художественной



фантазии; г. Луганскому предстоял труд угадать поэтический смысл этих картинок и написать к ним текст, словно либретто к готовой уже опере: следовательно, это была некоторым образом заказная работа. Но г. Луганский более нежели ловко и удачно выпутался из затруднительного положения: из его текста к картинкам вышла оригинальная повесть, которая прекрасна и без картинок, хотя при них и еще лучше. Правда, некоторые места отзываются *задачею*, но в общем этого почти не заметно" (В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. VIII. М., 1955, с. 481).

В конце 1842 г. В. И. Даль сообщал С. П. Шевыреву: "Мы вдвоем с А. П. Сапожниковым готовим шутку: он сделал наперед 50 картин, на меди, превосходно очерченных, мастерская работа – величиной больше почтового полуплиста; а я после написал к ним пояснение в роде повести: похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета: жизнь мнимого художника, музыканта, который невпопад пустился в Гении. Издание стоит дорого; картины превосходны – не знаю как пойдет" (Отдел рукописей Государственной

публичной библиотеки СССР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ОР ГПБ), ф. 850, оп. 1, ед. хр. 221, л. 11). Однако можно предположить, что творческая история повести была несколько сложнее. Характер иллюстраций показывает, что художнику были известны не просто контуры сюжета, а весьма мелкие его подробности. Хранящиеся в архиве В. И. Даля варианты рисунков носят следы переработки, находящиеся в прямом соответствии с приплетенной сюда же рукописью текста (см. ОР ГБЛ, ф. 473, карт. 2, ед. хр. 2). Вероятнее всего, сюжет повести – плод совместных размышлений Даля и его близкого друга художника Андрея Петровича Сапожникова (1795-1855); в разработке частных сюжетных мотивов, почти без всякого сомнения, принимал ближайшее участие Даль – повесть густо населена его излюбленными типажам.

Назвав Сапожникова в цитированной выше статье "Русская литература в 1844 году", Белинский раскрыл инкогнито "известного русского художника", которое по какой-то причине старательно охранял Даль, писавший 13 ноября 1843 г. М. П. Погодину: "Скажи-

те бога ради Шевыреву, чтобы он, говоря о Виольдамуре, не упоминал о художнике Сапожникове; может, пожалуй, указать на Крылова басни его же работы" (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 231/П, карт. 10, ед. хр. 16, л. 22 об., просьба выделена в тексте письма красными чернилами). 2 рисунка не вошли в издание, очевидно, в последний момент (ОР ГБЛ, ф. 473, карт. 2, ед. хр. 2, лл. 82, 166).

Стр. 28. *Виольдамур* (Viole d'Amour) – смычковый инструмент виольного семейства, похожий на большой альт.

*Виола* - струнный смычковый инструмент, средний между скрипкой и виолончелью.

*Паганини* Никколо (1782-1840) – знаменитый итальянский скрипач, композитор.

*...служкою Ромберга, отзывающемся на спрос могучего смычка чистым человеческим голосом.*- Говорится о виолончели. Имеется в виду Бернхард Ромберг (1767-1841) или Киприан Ромберг (1807-1865): эти немецкие виолончелисты были популярны в России.

*Камер-музыкант* - композитор или исполнитель, принимающий участие в исполнении музыки при дворе.

Стр. 31. ...кричал фистулой...- то есть фальцетом.

Стр. 32. *Папенька протвердил на вечер "Багдадского Калифа"...*- Вероятнее всего имеется в виду популярная в свое время в России опера Франсуа Буальдьё "Калиф Багдадский". Менее вероятны одноименный балет Шарля Дидло (музыка Фердинанда Антониолини) и опера Россини "Адина, или Калиф Багдадский".

Стр. 32. *Пикет* - карточная игра.

*Кранология... краноскопия...*-Даль объясняет в статье "Черепословие и физиономика": "Основанием науки, которой дано название "кранологии", "краноскопии", "черепословия", служит следующая теорема: все душевные, умственные и нравственные качества животного – и в том числе человека – сказываются в телесном образовании его, и преимущественно в образовании черепа, как твердой оболочке важнейшего жизненного снаряда всех высших животных, одаренных головным мозгом" ("Литературная газета", 1844, No 27, 13 июля, с. 451).

*Физиогномика* - представления о возмож-

ности узнавать характер человека по его наружности.

*Симбалистика* - система многозначительного символического толкования заурядных явлений.

*Кабалистика* - средневековые магические обряды у евреев, основанные на суеверии и мистике.

Стр. 34. *Тимпан* - древний музыкальный ударный инструмент вроде литавров.

Стр. 35. *Свивальник* - длинная узкая полоска ткани, которою обвивают младенца поверх пеленок.

*...из какого-нибудь серпана.*- Имеется в виду серпент – старинный духовой мундштучный инструмент, по конструкции – предшественник фагота.

*...папенька дерет на скрипке немилосердно второе, веселенькое колено гросфатера...*- Старинный немецкий танец гросфатер состоит из двух мелодий, первая в медленном движении в 3/4, вторая – 2/4 (экосез).

Стр. 36. *Мусикия* - музыка.

Стр. 38. *Хроматическая фуга* - последовательное повторение музыкальной темы, дви-

жущееся вверх или вниз по полутонам.

Стр. 39. ...как *единорог и пушка* в известном ответе нашего солдата.- Единорог – старинное артиллерийское орудие. Здесь имеется в виду популярное во времена В. И. Даля выражение, о сути которого можно судить по следующим строчкам из письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 14 марта 1830 г.: "Знаешь разницу между пушкой и единорогом? Пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Потемкин и Сибелев сами по себе, а ты сам по себе. Не должно смешивать эти два дела".

*Тиц* (Диц) Август Фердинанд (1742-1810) – скрипач и композитор, немец по национальности; с 1771 г. жил в России.

Стр. 45. *На Волкове...*- кладбище в Петербурге, где можно было хоронить лютеран.

...в *Большом театре...*- Большой театр, называвшийся также "Каменным", находился на Театральной площади, на месте нынешнего здания Ленинградской государственной консерватории.

*Притин* - место, где ставится часовой.

...всякому дню *забота своя...*- См. прим. к стр. 317.

Стр. 46. *Круглый рынок* находился между Аптекарским и Круглым переулками и рекой Мойкой, возле Марсова поля.

*Сенная* (ныне площадь Мира) – здесь находился самый крупный рынок города.

*Квинта* - первая струна на скрипке.

*...переставить душу в скрипке...*- изменить положение деревянной распорки (душки) внутри инструмента.

Стр. 47. *Ипекакуана* - рвотный корень.

Стр. 51. *Целковый* - рубль серебром.

Стр. 54. *Голик* - веник без листьев.

Стр. 57. *Ликторский атрибут* - пучок розог, который несли перед высшими римскими должностными лицами их служители (ликторы).

*Бунчуг* (правильнее: бунчук) – конский хвост на специальном древке (символ власти турецких пашей).

Стр. 58. *...скрыть его от василисковых глаз...*- Василиск – сказочное чудовище, убивающее одним своим взглядом.

Стр. 61. *Приспешная* - кухня.

Стр. 72. *Щукин двор* - огромное торговое помещение на улице Садовой за Гостиным дво-

ром.

Стр. 73. ...*овому талант, овому два...*- ре-  
минисценция из Евангелия от Матфея (гл.  
XXV, ст. 15), где "талант" означает меру веса  
серебра. Слово получило и другое значение  
(исходя из содержания евангельской притчи,  
талантом стали именовать природные спо-  
собности человека). Этим и воспользовался в  
данном случае В. И. Даль.

"Свод законов Российской империи, пове-  
лением государя императора Николая Павло-  
вича составленный" был издан в 1832 г. в 15-  
ти томах; "*Продолжение Свода законов...*" вы-  
ходило в 1834-1839 гг. "*Полное собрание зако-  
нов Российской империи*" было впервые из-  
дано в 1830 г. в 45-ти томах.

Стр. 74. *Напойка табаку* - понюшка. В. И.  
Даль объяснил это выражение в своем слова-  
ре, как "щепоть, напояющая нос в один раз".

Стр. 75. *Крестовский перевоз* - пристань на  
Малой Невке возле Большой Зелениной ули-  
цы.

Стр. 76. ...*в кованых выростковых сапогах...*-  
в сапогах из выделанной телячьей шкуры.

Стр. 76. ...*на Фонтанке, в Морской, в Милли-*



*онной...*- перечислены улицы, принадлежавшие к аристократическому району Санкт-Петербурга. Большая Морская (ныне улица Герцена) шла от Дворцовой площади до Крюкова канала. Миллионная (ныне улица Халтурина) начиналась у набережной Лебяжьей канавки и шла к Дворцовой площади.

*Фореитор* - кучер, сидящий на передней лошади в упряжке цугом.

Стр. 86. *Частный пристав* - главный в данной части города полицейский чиновник.

Стр. 88. *Супонь* - ремень для стягивания хомута при запряжке лошади.

*...это видно по ногам и коленям его; на левой он стоит довольно твердо...*- Несоответствие между описанием Даля и рисунком, где Иван Иванович "стоит довольно твердо" на правой, а не на левой ноге, в то время как левая (а не правая, как пишет Даль) находится "выразительно на отлете", вероятно, можно объяснить тем, что рисунок был очередной раз переделан А. П. Сапожниковым уже после завершения данного куска текста.

Стр. 90. *...могущественные чернильные души, повитые в гербовой бумаге, искормленные*

*острием пера...*- перифраза речи курского князя Всеволода Святославича (Буй Тур Всеволода) из "Слова о полку Игореве": "А мои ведь куряне опытные воины; под трубами повиты, под шлемами укачаны, концом копья вскормлены..." (перевод С. Шамбинаго и В. Ржиги). Указано Ю. В. Манном.

Стр. 91. *Подъячее поколение* - то есть чиновничье, канцелярское племя.

Стр. 92. *Магистратский* - служащий в магистрате, выборном городском учреждении, ведающем судебно-административными и податными делами.

Стр. 99. *Генерал-бас* - возникший в Италии в конце XVI в. особый способ записи музыкальных произведений, состоявший в том, что писался только нижний голос (басовый), а над ним или под ним ставились цифры, обозначающие гармонию. Чтение (исполнение) такой рукописи требовало от музыканта больших знаний гармонии и голосоведения.

*Пески* - так назывался заселенный простым людом отдаленный район между Старо-Невским, Литовской, Таврической улицами и набережной Невы.

*Малая Болотная* - ныне улица Красного Текстильщика.

*Калашникова пристань* была расположена на Калашниковой (ныне Синопской) набережной, на левом берегу Невы.

*Рождественская часть* лежала вдоль берега Большой Невы, отделяясь от соседних частей Невским проспектом и Аиговским каналом. Автор "Путеводителя по Санктпетербургу и окрестностям его" (Спб., 1843, с. 75) И. Пушкарев сообщал: "...Низшее сословие народа, крестьяне, занимающиеся извозничеством, и подобные им чернорабочие составляют большую часть ее обитателей".

Стр. 100. *Ниренбергские лавки* (правильнее: *Нюренбергские*) – так назывался ряд из десяти различных магазинов, размещавшихся в здании костела св. Екатерины на Невском проспекте (ныне д. 32).

Стр. 101. ...*петербургская крепостная площадь* - площадь перед Петропавловской крепостью, называвшаяся в то время *Петровской*.

*Шпор Людвиг* (1724-1859) – знаменитый немецкий скрипач, дирижер, композитор.

*Родде* (правильнее: Род) Жак Пьер Жозеф (1774-1830) – известный французский скрипач, педагог, композитор; в 1803 г. приехал в Россию, где выступал в течение нескольких лет.

*Троицкий мост* - наплавной мост, расположенный на месте нынешнего Кировского моста, то есть на оси Кировского проспекта и Суворовской площади.

Стр. 102. *Английская набережная* - ныне набережная Красного Флота.

Стр. 103. *Царицын луг* - Марсово поле.

...у *Знаменья*... - то есть около церкви на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) на пересечении Невского и Литовского проспектов.

*Лиговка* - небольшая речка, остатки Лиговского канала. Вот как выглядела она в 50-е годы прошлого века: "...Узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила" (А. Ф. Кони. Петербург. Воспоминания старожила. Пб., 1922, с. 11). Впоследствии канал был заключен в трубу и засыпан; ныне по этому месту проходит Лигов-

ский проспект.

*...мимо фуражного двора...*- на пути Виольдамура (а путь этот, кстати, можно легко проследить по старым планам Санкт-Петербурга) находился Фуражный двор Преображенского полка.

*Большая Болотная* - ныне улица Моисеенко.

Стр. 104. *...нотный налойчик...*- здесь в переносном значении: налой – столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы или книги, аналой.

Стр. 106. *Чернышев мост* - ныне мост Ломоносова.

*Синенькая* - ассигнация достоинством в 5 рублей.

Стр. 108. *Дратва* - толстая просмоленная или навощенная нитка для шитья обуви.

Стр. 108. *Чеботарить* - шить сапоги.

*Головной голос* - фальцет.

Стр. 110. *Сибирка* - короткий кафтан в талию со сборками и стоячим воротником.

*Просфирня* - женщина, занимающаяся выпечкой и продажей просвир (белых круглых хлебцев, употребляемых в православном бо-

гослужении).

Стр. 112. ...или сам Частный какое-нибудь учиняет разбирательство...- Имеется в виду частный пристав (см. прим. к стр. 86).

Стр. 113. ...спустившись низехонько на аппликатуру...- здесь: в нижнюю часть грифа.

Стр. 114. ...аппликатура его затрудняла...- здесь "аппликатура" означает порядок размещения пальцев при игре.

*Арпеджио* - исполнение звуков аккорда одного за другим, "вразбивку".

Стр. 116. ...польский потолок подшила...- То есть, по определению Даля, подшила тес "вразбежку, не вгладь, не подлицо, закрывая швы через доску".

Стр. 121. *Галлопад* - "особая пляска и музыка для нее" ("Толковый словарь" В. И. Даля).

Стр. 122. *Четвертачок* - серебряная монетка достоинством в 25 копеек.

Стр. 126. *Погонная* - указ о поимке кого-либо, с описанием примет, выдаваемый гонцу.

Стр. 130. *Биржа* - здесь: сборное место чернорабочих поденщиков.

Стр. 132. *Шерстобит* - кустарь, взбивающий шерсть для прядения.

Стр. 134. *Виотти* Жан Баптист (1753-1824) – итальянский скрипач и композитор.

Стр. 138. ...*глухота*,- *говорит Грибоедов*,- *большой порок*.- Цитата из комедии "Горе от ума" (действие III, явление 20).

Стр. 139. ...*из опытной премудрости Соломоновой*...- Соломон – царь объединенного царства Израиля и Иудеи (ок. 960-935 до н. э.). По преданию, он автор многих библейских текстов, в том числе книги "Премудрости Соломона". Возможно, что эпитет "опытная" навеян названием чрезвычайно известного в свое время стихотворения Н. М. Карамзина "Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста".

...*проводил до Трех рук*...- то есть до первой почтовой станции, расположенной в 10 верстах от города. "Здесь обыкновенно прощаются с милыми сердцу особами во время проводов из С.-Петербурга по Московской дороге",- объясняет путеводитель, современный "Похождениям Виольдамура" (И. Д. Дмитриев). Путеводитель от Москвы до С.-Петербурга и обратно... Изд. 2-е. М., 1847, с. 606). Здесь стояли на скрещении дорог три столба с надписями-

ми и изображениями рук, указывающих направление. Благодаря им место и получило свое название (с появлением еще одной дороги стало называться "Четыре руки").

Стр. 140. *Комиссионер* - лицо, которому доверяется выполнение какого-нибудь (в данном случае, очевидно, государственного) поручения.

Стр. 141. *Красненькая* - ассигнация достоинством в 10 рублей.

*Флигели* - большое улучшенное фортепьяно, переименованное позже в рояль.

*Клавикорды* - старинный клавишный музыкальный инструмент с продолговатым четырехугольным корпусом.

...с хазового конца...- напоказ. Даль объясняет в словаре, что у ткани хазовый конец - это "заток, который делается почище, и этот конец оставляется сверху, напоказ".

Стр. 142. ...он будто сейчас только сорвался с иголки какого-нибудь Руча, с гребенки Грильона, с шильца Аренса...- перечислены знаменитые петербургские мастера (соответственно: портной, парикмахер и сапожник). У Конрада Руча, например, заказывал платье А.



С. Пушкин.

*Констанель* - упраздненный в 1830 г. чин морского артиллерийского офицера, соответствующий прапорщику.

*Риторнель* (ритурнель) – повторение; инструментальная тема, служащая вступлением к песне или арии. Может проводиться и между разделами арии или куплетами песни, а также завершать произведение.

Стр. 144. *Святая неделя* - пасхальная неделя.

Стр. 145. *Ареопаг* - судилище, собрание; первоначально: название верховного суда в древних Афинах.

*Земская давность* - "десятилетие; упустив этот срок без иску, тяжбы, лишаешься права иска" ("Толковый словарь" В. И. Даля).

Стр. 146. *Надолба* - невысокий столб, врытый в землю, тумба.

Стр. 147. ...*роберы и пульки*...- В некоторых карточных играх роббер – законченный круг игры, пулька – партия игры.

...*семейство, до новой трети, почти не евши сидит*...- В дореволюционной России существовала практика выплачивать служащим

жалованье (или часть его) трижды в год (по третям года).

...с новым пером, током, коком или клеком...- Кок – вид прически; ток – женский головной убор; клек – вероятно, имеется в виду плащ или накидка (от англ. cloak).

Стр. 152. *Супирчики* - по-видимому, драгоценные и полудрагоценные камни. Ср. описание колец в повести В. А. Соллогуба "Тарантас": "Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками" (В. А. Соллогуб. Три повести.

М., 1978, с. 178). Слово это, вероятно, этимологически связано со словом "сапфир".

Стр. 152. *Стреха* - нижний, свисающий край крыши деревянного дома.

*Лабазный ряд* - место ручной и крупной торговли.

Стр. 155. *Присяжный лист* - "по которому читается священником присяга, повторяемая дословно присягающим; лист ими подписывается" ("Толковый словарь" В. И. Даля).

Стр. 159. *Легитимисты* - здесь: консерваторы.

*Торричелли* Эванджелеста (1608-1647) – вы-

дающийся итальянский математик и физик.

Стр. 160. *Гарус* - род хлопчатобумажной ткани, на ощупь похожей на шерстяную.

...*дух бодр, да плоть немощна*...-- Крылатое выражение, восходящее к библейским текстам (см. Евангелие от Матфея, гл. XXVI, ст. 41 и Евангелие от Марка, гл. XIV, ст. 38).

Стр. 161. *Фактор* - управляющий технической частью типографий.

Стр. 165. *Одноворцы* - по определению Дадля, поселяне, считавшие себя дворянами и отчасти владевшие людьми.

Стр. 170. ...*сядем за аматёрскую*...- От французского amateur- любитель, дилетант. Здесь, по-видимому, означает какую-то коммерческую, "легальную" карточную игру (вист, преферанс, бостон, ломбер). Коммерческие игры были популярны среди чиновничества (особенно провинциального), в то время как запрещенные так называемые азартные игры (банк, штосе, фараон) практиковались в основном в среде военной молодежи.

Стр. 173. *Выносные* - лошади, запряженные сбоку или спереди в помощь основной упряжке.

*Блонды* - особый вид шелковых кружев с желтоватым отливом.

Стр. 173-174. *Фамилия* означает там собственно супругу...- Происхождению этого значения послужило французское слово *famille* – семья.

Стр. 178. ... *кричали фора*...- *Фора* – возглас одобрения, вызывающий артиста на сцену для повторения номера.

Стр. 180. ...*знаменитой породе птиц, которая, если верить народному преданию, удостоилась чести попадать иногда во французские супы 1812 года*...- Имеются в виду вороны.

Стр. 181. *Наянливый* - по Далю, "наглый, нахальный, бесстыдный, безотвязный или навязчивый".

Стр. 192. *Лебедка* – "расколота на конце, расщепленная палка, для сжимания, ущемленья; это снаряд птицеловов..." ("Толковый словарь" В. И. Даля).

Стр. 194. *Пленира* - нарицательное литературное имя, широко употреблявшееся поэтами XVIII века; обычно им называли героиню произведения, вызвавшую страсть героя.

*Презамысловатая вывеска гробовщика* говорит: "Здесь делают гробы и убивают с трауром". Под вывеской на рисунке (около двери) изображено объявление: "Всем доме одаеца покой". Насколько характерны орфографические особенности этой записки для описываемой эпохи помогает понять эпитафия, избранный Н. А. Некрасовым к его "Петербуржским углам" (1845): "Ат даеца внаймы угал, на втором дваре, впадвале, а о цене спрасить квартирной хозяйке Акулины Федотовне".

Стр. 199. ...этого булочника Христианыча... В первой половине прошлого века подавляющее большинство булочников в Москве и Петербурге было немцами. П. А. Каратыгин назвал свой водевиль "Булочная, или Петербургский немец" (Спб., 1843), ср. в "Евгении Онегине": "И хлебник, немец аккуратный..." (глава I, строфа XXXV).

Стр. 202. *Полулист* - довольно крупная единица измерения формата бумаги.

Стр. 210. *Горацій* Квинт Флакк (65 г. до н. э. – 8 г. до н. э.) – римский поэт. Имеется в виду 32-я (а не 31-я) ода из его первой книги од.

*Крин* - поэтическое название лилии.

Стр. 211. *Двойственное число* употреблялось для обозначения двух парных предметов, во времена В. И. Даля эта грамматическая категория являлась уже анахронизмом.

*Катулл* Гай Валерий (87 г. или 84 г. до н. э. - после 54 г. до н. э.) – римский поэт. Второе стихотворение из его книги лирики начинается: "Милый птенчик, любовь моей подружки!" (Перевод А. И. Пиотровского).

*Проперций* Секст (ок. 50 г. до н. э. – ок. 15 г. до н. э.) – римский поэт. Основной его темой являлась тема страсти к возлюбленной Цинтии (Кинфии).

*Ювенал* Децим Юний (ок. 60 г.- ок. 127 г.) – римский поэт-сатирик. В первой сатире, утверждая свое право на самостоятельную поэзию, спрашивает, долго ли ему быть слушателем (auditor). Почтенный бакалавр путает понятие "слушатель" с понятием "аудитор" – военный делопроизводитель, законник.

Стр. 219. *Кормовые деньги* - кредитор мог требовать заключения в тюрьму несостоятельного должника, лишь заплатив за его пропитание.

Стр. 220. *Винные досмотрщики* - чиновники, поставленные наблюдать за сбором налогов с торговцев вином. Их нравы, описанные здесь Далем, были освящены древним обычаем (см., например, журнал "Адская почта", 1769, июль, с. 59-60).

Стр. 228. *...путешествовал, как многие странники, не перешагнув родного порога...*- Подобные литературные путешествия имели давнюю традицию; Даль, по-видимому, намекает на своего друга А. Ф. Вельт-мана, автора на шумевшего в то время романа "Странник". В основе романа лежали реальные путевые впечатления автора, однако всемерно подчеркивалась условность описываемого в книге путешествия.

Стр. 234. *Больница Приказа*. - Имеется в виду больница для бедняков, содержащаяся на средства Приказа общественного призрения.

*Козны* - игра наподобие игры в бабки.

*Кантонисты* - малолетние сыновья нижних чинов, принадлежавшие к военному званию с самого рождения.

*Внутренняя стража* - гарнизон, милиция.

Стр. 235. *Идропат* (гидропат) – врач, леча-

ций болезни холодной водой.

Стр. 240. *Чубарый* - с темными пятнами по светлой шерсти или вообще с пятнами (о масти лошадей).

*Готтеноты* - принятое в то время наименование, данное европейцами местным жителям Южной Африки.

Стр. 248. *Громовой* - герой одноименной баллады В. А. Жуковского, которая вместе с балладой "Вадим" составляет повесть в стихах "Двенадцать спящих дев". Здесь это имя, употребленное как нарицательное, означает грешника, готовящегося продать душу дьяволу-искусителю.

Стр. 254. *Свайка* - большой толстый гвоздь, который бросают так, чтобы попасть его острым концом в середину кольца, лежащего на земле (что составляет суть русской народной игры того же названия).

Стр. 255. *Ухожи* - "все домашние, хозяйственные строения опричь жилого дома" ("Толковый словарь" В. И. Даля).

Стр. 262. ...как у *Репетилова водевиль*... - Имеется в виду реплика персонажа комедии А. С. Грибоедова: "Да! водевиль есть вещь, а



прочее все гиль!" ("Горе от ума", действие IV, явление 6).

Стр. 266. *Северяк* - "зимний ветер, полуночный, от севера" ("Толковый словарь" В. И. Даля).